

Уильям Стайрон — классик литературы XX века, лауреат Пулитцеровской премии. Каждая его книга оказывалась предметом ожесточенных литературных дискуссий не только творческого, но и политического характера.

Уильям Стайрон

Самоубийственная гонка

«Самоубийственная гонка» — сборник рассказов о том, как изощренно и долго военный ад влияет на психику тех, кому довелось его пережить.

«После войны — мир», — говорили еще римляне. Однако и «везунчики», и «неудачники», снявшие военную форму, равно обречены хранить в душе боль и ужас «сороковых роковых»...

Впервые на русском языке — «Зримая тьма», самая личная работа Стайрона, в которой писатель с поразительной откровенностью рассказывает о погружении в непроглядный мрак депрессии. Как утверждал сам Стайрон, эта книга написана, чтобы засвидетельствовать: депрессию можно победить.



The BEST

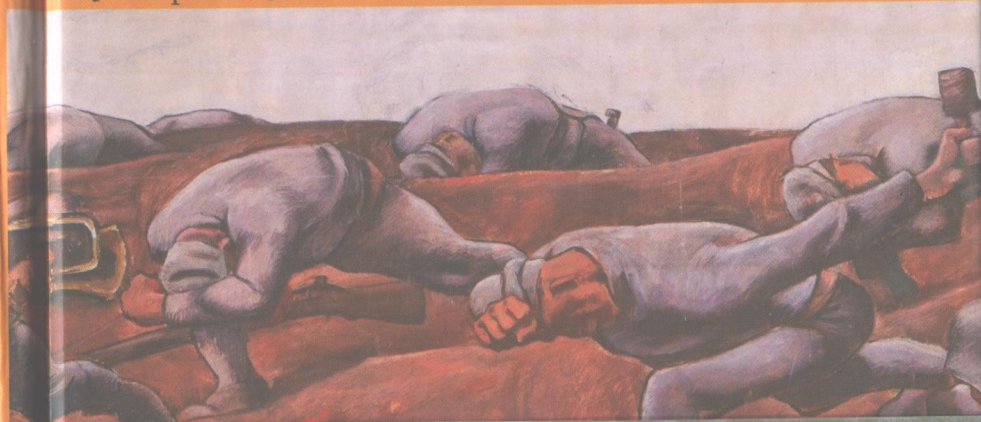
Самоубийственная
гонка

Уильям Стайрон



Самоубийственная гонка

[сборник]



Уильям Стайрон

КЛАССИК МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ЛАУРЕАТ
ПУЛИТЦЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ

Впервые на русском языке —
дневник депрессии от автора романов
«Выбор Софи» и «Признания Ната Тернера»!

www.ast.ru

ISBN 978-5-17-074898-3



9 785170 748983

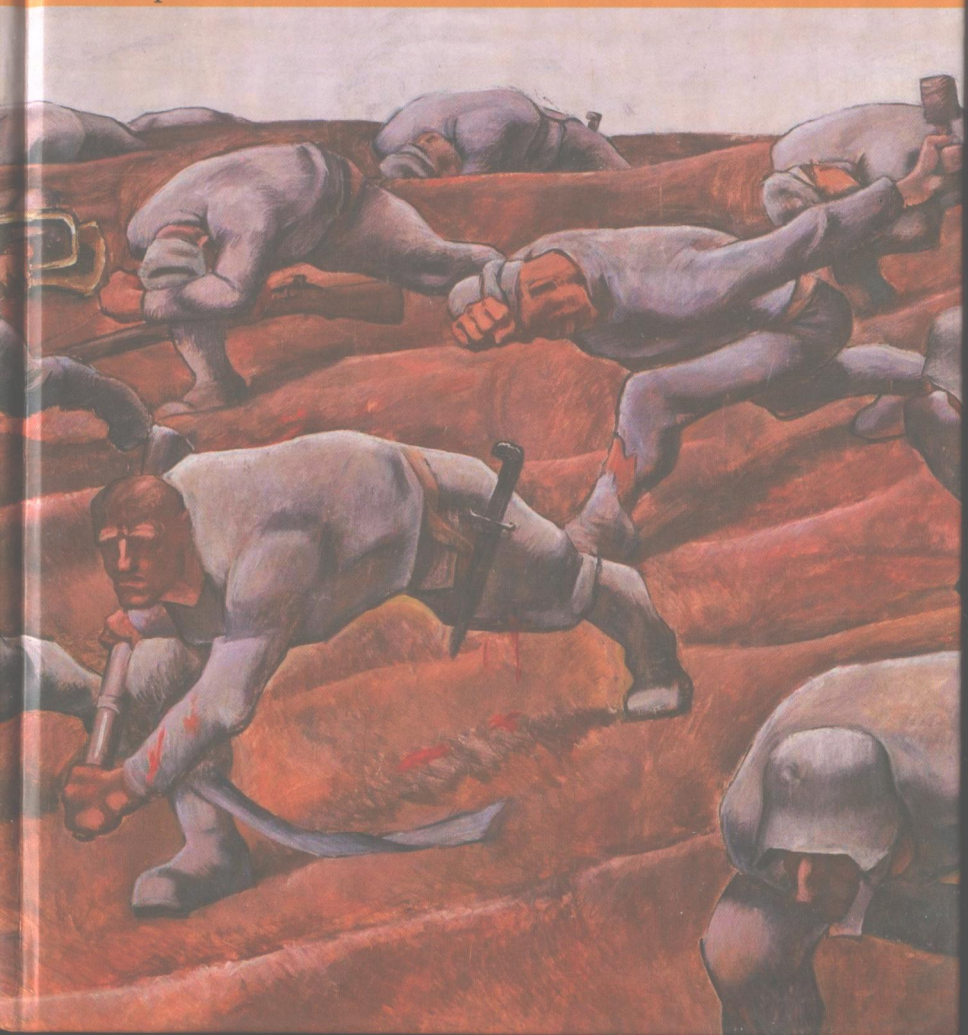
Уильям
Стайрон



The BEST

Самоубийственная
гонка

[сборник]



Уильям Стайрон

Самоубийственная гонка

АСТ
МОСКВА

УДК 821.111(73)
ББК 84 (7Coe)
С77

Серия «XX век — The Best»

William Styron
THE SUICIDE RUN
DARKNESS VISIBLE

*Перевод с английского Т. Китаиной («Самоубийственная гонка»);
Е. Мениковой («Зримая тьма»)*

Компьютерный дизайн Э. Кунтыш

Печатается с разрешения наследников автора
и литературных агентств InkWell Management и Synopsis.

Подписано в печать 18.03.2013. Формат 84x108¹/₃₂. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8. Тираж 2000 экз. Заказ 1367.

Стайрон, Уильям

С77 Самоубийственная гонка. Зримая тьма : [пер. с англ.] /
Уильям Стайрон. — Москва: АСТ, 2013. — 315, [5] с. —
(XX век — The Best).

ISBN 978-5-17-074898-3

«Самоубийственная гонка» — сборник рассказов о морской пехоте. Герои этих историй — молодые люди, прошедшие ад Второй мировой и пытающиеся найти свое место в новой мирной жизни. Кому-то из них это удастся, кому-то — не очень. Однако все они, вчера совсем еще мальчишки — удачливые и невезучие, талантливые и самые обычные — навеки обречены хранить в душе боль и ужас военных лет...


«Зримая тьма» — самая личная работа Стайрона, в которой писатель поразительно откровенно рассказывает о погружении в непроглядный мрак депрессии. Эта книга написана для тех, кто еще пребывает в «сумрачном лесу», с тем, чтобы засвидетельствовать: «...у депрессии есть спасительное свойство, возможно единственное: ее можно победить».

УДК 821.111(73)
ББК 84 (7Coe)

© William Styron, 1990, 2009

© Перевод. Е. Меникова, 2011

© Т. Китаина, 2011

 Школа перевода В. Баканова, 2011

© Издание на русском языке AST Publishers, 2013

ISBN 978-985-18-2092-0
(ООО «Харвест»)

**САМОУБИЙСТВЕННАЯ
ГОНКА**

**Пять рассказов
о морской пехоте**

БЛЭНКЕНШИП

Там, где воды Ист-Ривер встречаются с проливом Лонг-Айленд, образуя коварный сулой*, расположился маленький плоский остров. Застроенный на всем протяжении старыми тюремными зданиями, он схож своей ветхой убогостью с дюжиной других таких же островов, отданных под тюрьмы и госпитали. Такие пейзажи придают нью-йоркским берегам линиялый вид коммунальной бедности и — особенно в сумерки — наполняют душу тоской и унынием. Но глаз невольно останавливается на этом островке. В нем есть что-то особенно жалкое и отталкивающее. Возможно, в этом виновато его расположение: место слишком хорошо для тюрьмы. Отсюда открывается прекрасный вид на побережье: на расстоянии унылые дома Бронкса выглядят чистенькими и по-летнему нарядными, а Нью-Йорк

* Вид волнения на море, при котором на поверхности образуется встречное течение. — *Примеч. ред.*

представляется столь же далеким, как какой-нибудь Нантакет. Путешественник, проплывающий мимо островка, скорее представит себе на этом месте уютный старый парк или гавань с парусными яхтами, а не жалкие тюремные постройки. Возможно, столь гнетущим видом остров обязан самим зданиям: на их фоне утилитарные строения из белого мрамора на другом берегу пролива кажутся едва ли не желанным пристанищем. Почернелые кирпичные нагромождения выступов, сухих рвов, парапетов и четырехугольных башен стоят здесь уже больше ста лет. Зубчатые стены с амбразурами и прочие фальшивые атрибуты оборонительной мощи производят впечатление намеренного, нарочитого уродства, как будто они созданы с единственной целью: добавить к обычным страданиям арестантов ежедневное и ежечасное оскорбительное напоминание об их участи — неизбывное и символичное.

Время не облагородило этих стен. Ветер, копоть и дождь наложили на них свой отпечаток, но он лег не патиной старины, а слоем грязи. Ужасно здесь оказаться. И не важно, что именно делало жизнь на острове столь тягостной: близость чистеньких беленьких домиков или чудовищная тюремная архитектура, — однако для каждого, кто попадал сюда, мысль о свободе становилась еще более желанной. Настолько желанной, что ярость и боль вполне могли толкнуть человека на почти безнадежный поединок с опасными течениями.

Так получилось, что во время последней войны остров и тюрьма были сданы в аренду американскому флоту: тут содержались моряки — матросы, морские пехотинцы, пограничники, — нарушившие устав и служебную дисциплину. Заключение (их численность в силу естественных причин колебалась, но узников всегда было не меньше двух тысяч) не совершили никаких особо тяжких преступлений — то есть не убивали, не изменяли родине, не оскорбляли офицеров и не сделали ничего такого, что вынудило бы военно-морское правосудие навалиться на них всей тяжестью и заглотить на долгих двадцать лет. Однако это вовсе не значит, что за ними не числилось никаких серьезных проступков: они воровали, насиловали и дезертировали, их уличали в мужеложестве, они напивались или засыпали (а чаще и то и другое) на посту, и почти каждый из них хоть раз побывал в самоволке. Их всех судил военно-морской трибунал, и средний срок тут был небольшой — три с половиной года. Впрочем, не обладая ни самоуважением добропорядочных граждан, ни блатным шиком преступного мира, заключенные страдали от чувства собственной неполноценности и высокомерного презрения окружающих. И никто не выражал это презрение с таким наглым самодовольством, как сторожившие узников морпехи, звавшие их не иначе как зэками.

Участь арестантов была незавидна, морпехи (двести человек, солдат и офицеров) пра-

вили островом на манер пиратов, всецело полагаясь на метод запугивания и угроз. Заключенных почти никогда не били, поскольку это само по себе воинское преступление. Как показывает опыт, раздавать пинки и оплеухи — самый верный способ спровоцировать мятеж, в то время как постоянный гнет презрения лишает людей воли и разъедает душу. Вооруженные одними только короткими деревянными дубинками морпехи невозмутимо расхаживали среди беспокойной толпы, с циничным безразличием раздавая тычки под ребра и шутки ради колотя по спинам. Лица заключенных были серы от недостатка солнечного света и непреходящей боли одиночества. Это была та особенная серость, которая странным образом отпечатывается на лицах людей, подвергающихся постоянному запугиванию, — скучный, неживой цвет, оттенок дыма. Днем заключенные плели веревки, работали кочегарами на электростанции, убирали мусор, мели и драили полы в бараках. Затем с верхушки водонапорной башни раздавался мощный рев сирены. Этому всевластному, апокалиптическому голосу подчинялся весь остров, именно он определял ежедневный порядок вещей. Подобно трубе архангела он мог грянуть в любой час дня и ночи. Этот звук был сродни удару в челюсть, и под его надрывной, безжалостный вой заключенные мчались через весь остров как стадо перепуганных овец, подго-

няемые резкими окриками морпехов. Потом их заставляли построиться в шеренги перед бараками и устраивали переключку (иногда оказывалось, что кто-то, не выдержав тоски и отчаяния, прыгнул с волнолома), и все это время они стояли унылыми рядами под равнодушным бескрайним небом, перед уродливыми кирпичными башенками и парапетами.

Если рядовые морпехи внашали заключенным смертельный страх, то на офицеров, обладавших на острове полной и безраздельной властью (всего их было двадцать пять: помимо семерых ответственных за охрану тюрьмы здесь имелись юристы, администраторы, врачи, дантисты, парочка психиатров, чтобы вправлять вывихнутые мозги, и капеллан, приглядывавший за неприкаянными душами), заключенные взирали с боязливым почтением. При приближении офицера они вскакивали, сдергивали фуражки (отдавать честь им запрещалось) и замирали в тревожном молчании. Так было положено по Уставу, и даже ничтожнейший лейтенант в такие мгновения ощущал нервный трепет и горячий прилив чувства превосходства подобно кардиналу или маршалу на параде, и душу ему охлаждал сладкий экстаз власти. Однако ни к кому из начальства, включая полковника морской службы, командовавшего всем островом, и его ближайших подчиненных, арестанты не относились с такой суетливой робостью, как к некоему уорент-офицеру по име-

ни Чарлз Блэнкеншип, что само по себе удивительно, поскольку человек он был не жестокий и не озлобленный.

Блэнкеншип отвечал за карцер, где в крохотных клетушках за толстыми (толщиной не меньше фута) дверями содержались самые буйные и отчаянные. Он не был высок — скорее среднего роста, но что-то в нем (может, военная выправка, а может, гибкая ладная фигура, подчеркнутая точно подогнанной, сшитой на заказ формой), производило впечатление спокойной, собранной силы. Впрочем, как всякий профессионал, он никогда не кичился этой силой, не выставлял ее напоказ. По его манере держаться было понятно, что этот человек давно перерос юношеское стремление подавлять своим видом (если оно когда-нибудь у него было): он носил военный мундир с такой естественной уверенностью, с какой очень красивые женщины, привыкшие к восхищенным взглядам, носят свою красоту.

Блэнкеншип был очень молод для уорент-офицера: в то время ему едва исполнилось тридцать. Типичный уорент-офицер морской пехоты — это грузный пожилой человек, всю жизнь карабкавшийся по служебной лестнице и на склоне лет превратившийся в благодушного андрогина — не рядового пехотинца, но и не настоящего офицера; он вечно копается в своих клумбах и на вечернем построении, поднося руку к фуражке, неуклюже сутулится, выпятив пузо; за глаза его лас-

ково зовут «наш старик комендор» и уважают, как любого старого чудака. Звание составляло предмет особой гордости Блэнкеншипа и придавало ему твердую уверенность в себе — конечно, в военное время (шел 1944 год) офицеры растут быстрее, но он сумел к тридцати годам добиться того, на что у большинства уходит целая жизнь. В его гордости не было ни капли напыщенности или высокомерия. То была гордость человека, уверенного в своих способностях и довольного, что их признали другие, пусть даже это признание ускорила война. Большого Блэнкеншип и не желал. Как многие в морской пехоте, он не стремился стать капитаном или полковником. Главное для него было оставаться хорошим солдатом, и не важно, в каком чине. Блэнкеншип знал, что, когда его вернут в прежнее звание (а такое обязательно случится, как только закончится война), он без всяких жалоб и притворной скромности вновь станет сержантом — просто хорошим солдатом, и все.

И вот однажды серым ветреным ноябрьским утром — почти через пять месяцев после того, как Блэнкеншип прибыл на остров (до этого он два года участвовал в боевых действиях на Тихом океане) — случилось событие, нарушившее его привычный распорядок. В туманном свете холодного утра один из охранников, совершавший регулярный обход, обнаружил побег — или по крайней

мере то, что представлялось побегом. Как рассказал охранник (здоровенный молодой парень из Кентукки, с ломающимся от возбуждения подростковым голосом и многозначительно важным видом человека, осознающего себя участником, возможно, даже ключевой фигурой в каком-то очень серьезном деле), туман был такой густой, что по асфальтовым дорожкам вдоль волноломов приходилось идти, как он выразился, «на ощупь», чтобы не свалиться в море, и даже его пес, огромный свирепый доберман с молочно-белыми клыками, способный прокусить человеку запястье или лодыжку так легко, словно это ком мягкой глины, однажды оступился, встал, пригнувшись, а потом, подняв голову, завыл в темноту. Если бы не ветер, побег так бы и остался незамеченным до утренней переклички. Как объяснил пехотинец, ему помогла случайность: через непроницаемый, хмурый рассвет долетел слабый хлопающий звук, словно стучала оторванная вывеска или кусок кровельного железа. Впоследствии выяснилось, что в соседнем бараке, на расстоянии всего двадцати футов от дорожки, окно в туалете высадили вместе с задвижками, заклепками и всем прочим, и рама болталась на ветру, хлопая по стене. Никто так и не понял, как удалось ломом или куском трубы выломать из железобетонной стены стальную решетку весом не меньше четверти тонны и не поднять на ноги всю тюрьму — от такого грохота про-

снулись бы даже мертвые. Так или иначе, пешотинец доложил капралу, а тот примчался в офицерскую кают-компанию и разбудил Блэнкеншипа, который дежурил в тот день.

— Значит, просто так совпало, что сегодня ваше дежурство? — с широкой улыбкой спросил полковник Уилхойт.

— Да, сэр, — ответил Блэнкеншип, — обидно, но ничего не поделаешь. Кто-то должен был сегодня дежурить. Нас пятеро, плюс еще семь офицеров. Получается, у каждого один шанс из двенадцати, что побег придется на его день. Мне просто не повезло, вот и все. Бывает.

— Садитесь, комендор. Закуривайте.

В аскетично обставленном кабинете полковника не было ничего, кроме письменного стола, пары кресел, каталожного шкафа и двух фотографий в рамках: верховный главнокомандующий — Франклин Д. Рузвельт и он же, только моложе и энергичнее. За окном голубая вода пролива Лонг-Айленд сверкала на солнце продолговатыми бликами. Надрывно гудел буксир, торопясь к морю. Полковник вздохнул.

— Прекрасно, просто прекрасно, — прошепел он. — Построили лодку.

Блэнкеншип опустил в кресло и закурил.

— Именно так, сэр. В сарае рядом со столярной мастерской. Это называлось «самодеятельное творчество». Они работали вдвоем.

Хозяин мастерской думал, они мастерят скворечники или что-то в таком роде. Они и делали скворечники — пока он на них смотрел. Когда мы пришли, дверь сарая была взломана. У них там остались козлы. Даже трафареты для лодки были. Уже потом мы заметили след на земле, ведущий к волнолому. Похоже, тащили ялик футов семь-восемь длиной.

— Прекрасно, — снова сказал полковник. — Просто гениально. Только подумайте, построили лодку. Великолепно.

— Наши катера искали их начиная с шести часов. Полиция также подключилась. Но никаких следов не нашли. По всей видимости, они уже на берегу.

— И уже, надо думать, обчищают какой-нибудь дом в Грейт-Неке. — Полковник помолчал, внимательно рассматривая кончики пальцев, затем уставил мечтательный влажный взгляд в голубую даль пролива. — Великолепно, ну что тут скажешь.

Уилхойт был полный лысоватый мужчина лет пятидесяти, с красным подвижным лицом и непропорционально маленьким носом, словно слепленным из жалких остатков. Если бы не эта особенность, его лицо смотрелось бы волевым и внушительным, и, возможно, именно она помешала ему дослужиться до генерала. В Первую мировую Уилхойт отличился в бою при Буа-де-Белло, но из-за астмы и прочих недугов в нынешней войне уже не участвовал.

Блэнкеншип ждал, внимательно наблюдая. До сих пор душа Уилхойта была для него потемками, и попытки угадать, что последует дальше, ни к чему не вели. Блэнкеншип не стал бы утверждать, что полковник — полный дурак, и все же в его манере присутствовало нечто глуповатое и бессмысленное. Человек в общем благодушный, подверженный частым сменам настроений, Уилхойт исполнял свои обязанности почти что с отвращением. Он напрямик сознался Блэнкеншипу, что ничего не понимает в содержании заключенных, и грустно полюбопытствовал, почему командование направило его именно сюда. Чисто по-человечески такая откровенность делала ему честь, но в душе Блэнкеншип испытывал тягостную неловкость при мысли, что разбирается в чем-то лучше командира и что Уилхойт, с его неуклюже заботливым, заискивающим панибратством, отлично все понимает. С внезапной резкой болью от этого осознания Блэнкеншип, все еще не отошедший от сумятицы последних часов, смущенно отвел глаза. Уилхойт сидел, упершись подбородком в сплетенные пальцы, и задумчиво глядел на море. За годы службы Блэнкеншип перевидал всяких офицеров. Среди них были трусы, пьяницы и садисты (а случалось — и все разом), но никогда его отношение к ним не доходило до почти полного безразличия.

Наконец полковник заговорил.

— Нет смысла искать виноватых. Наше счастье, что до сих пор у нас не случилось ничего подобного.

Он замолчал, покусывая губу.

— Вы ведь дежурили на гауптвахте в Корпусе морской пехоты? Скажите, что, по-вашему, нужно сделать, чтобы не было новых побегов? Если эти двое так легко выбрались, то кто может поручиться, что оставшимся двум тысячам не придет в голову та же мысль?

Он еще не договорил, как у Блэнкеншипа вылетел ответ, припасенный за полчаса: он каким-то образом почувствовал, о чем его спросят. Он старался говорить так, чтобы его слова не прозвучали бесцеремонно, а тем более снисходительно:

— Во-первых, сэр, в туманные ночи я бы удваивал охрану; во-вторых, я бы укрепил все старые оконные рамы; затем я бы перетряхнул все бараки и прочие тюремные помещения на острове и избавился от хранящихся там старых труб и ломов. Что касается лодок, то мне не приходилось с этим сталкиваться, но я бы приказал внимательней приглядывать за инструментом и пиломатериалами.

Слова были сказаны, совет дан. Блэнкеншип испытывал смутное чувство стыда, как если бы у него, ребенка, отец выспрашивал крупницы мудрости. Ему хотелось поскорее с этим покончить.

— А известно, кто они?

Держа карандаш наготове, полковник слушал, как Блэнкеншип излагает ему сухие подробности: имена бежавших, их домашние адреса, статьи обвинения, сроки и даже отчеты о поведении в тюрьме — все, что сам узнал сегодня утром из личных дел и уже рассказывал полковнику не более пяти минут назад. Блэнкеншип готовился к этим вопросам — умение действовать быстро и эффективно было доведено у него почти до автоматизма: сказывалась выработанная за десять лет службы привычка в трудную минуту думать на шаг вперед, предугадывая дальнейшее развитие событий. Эта способность, среди прочих других, и принесла Блэнкеншипу звание уорент-офицера. Он знал: рефлекс, естественный как дыхание, позволяет ему ухватывать самую суть ситуации, не забывая при этом следить за ее ростками и ответвлениями, учитывать неявные угрозы и вероятность их осуществления. И сейчас — в случае глупейшего побега двух никчемных эков, которым только по недосмотру дали возможность выбраться с острова, — этот талант пригодился точно так же, как на Гуадалканале, где он лежал, распростершись на земле, с вырванным из ноги куском мяса величиной с кулак, и в ноздри ему било горячее зловоние джунглей, но по-прежнему регулярно, каждый час, связывался по телефону со штабом дивизии и докладывал обстановку, «внеся таким образом существенный вклад в обеспечение связи между подраз-

делениями и в успех операции в целом», как говорилось в указе о награждении его Серебряной звездой. Он «единственный из командиров взвода во всей этой чертовой дивизии докладывал о том, что происходило», — сказал ему потом сам генерал Стоукс.

Блэнкеншип чувствовал рану, и сейчас в сырую погоду она напоминала о себе несколько раз в день, и, наверное, так будет продолжаться до конца его жизни: леденящая судорожная дрожь пульсировала в бедре подобно электрическому разряду, на короткое мучительное мгновение вгрызаясь железными зубами в мышцу до самой кости, а потом отпускала. Он подвинул ногу — боль раздражала его особенно сильно, поскольку пришлось все повторять несколько раз, и еще потому, что по окончании его доклада полковник вдруг начал суетливо копаться в ящике стола; Блэнкеншип все больше злился на досадное утреннее происшествие, которое так легко было предотвратить и которое оставило у него ощущение бессилия и обманутых ожиданий. Он сердился не на полковника и не на двух сбежавших заключенных (которых до сегодняшнего дня в глаза не видел, если не считать фотографий в личных делах); его гнев был направлен на совершенно отвлеченное представление о порядке — порядке, который (по крайней мере временно) обрушился и пропал. Сегодня утром, когда командир караула поднял Блэнкеншипа с постели, вы-

дохнув ему в ухо слово «побег», неожиданная новость стряхнула с него сон, словно ушат холодной воды, и когда он спокойно, без суеты, надевал военную форму, бушлат, теплый шарф и перчатки, в груди медленно росло предчувствие чего-то значительного. Оно было столь сильным и многообещающим, что граничило с экстазом.

Блэнкеншип знал это холодное волнение, вызванное чем-то, для чего он с трудом находил слова: сложной задачей или велением долга — напряжение чувств столь значительное и запоминающееся, что, когда этого долго не происходило, он ждал очередного кризиса с еле сдерживаемым мучительным вожделением, как причастник ждет блаженного мига или охотник на болоте — последнего беззащитного взлета стаи. Сегодня утром, первый раз после Гуадалканала, Блэнкеншипу приказали отразить внезапную угрозу хаоса и восстановить твердый, неколебимый порядок. Выходя на улицу, в круговерть туманного утра, он ощущал на спине холодок восторга, мозг щелкал, как арифмометр. Однако теперь, глядя на полковника, неловко роющегося в бумагах, Блэнкеншип был близок почти что к отчаянию: не осталось никакой надежды пресечь побег в зародыше и вернуть заблудших овец на место — при первом взгляде на выломанные решетки и аккуратно отсоединенные штифты он понял, что очередного триумфа не будет.

— Не могу найти номер телефона ФБР, — пояснил полковник.

— Я уже связался с ними, сэр, — вставил Блэнкеншип.

Полковник поднял глаза.

— Да, разумеется, — сказал он мягко. — Как же я забыл. Ведь на этот счет есть специальные инструкции. С кем еще вы связались?

— Со всеми, сэр. С полицией города и береговой охраной. Разбудил какого-то балбеса на базе Форт-Слокум, затем позвонил в полицию Нью-Рошелла и округа Нассау. Я также связался с полицией их родных городов: Декейтера в Иллинойсе и небольшой деревеньки в Висконсине. Там обещали приглядывать.

На лице полковника проступило выражение замешательства и отчасти боли, как если бы его ранила безупречно отточенная четкость действий подчиненного.

— Черт побери, комендор, — произнес он с кривоватой усмешкой, — вы их обложили со всех сторон.

Блэнкеншип неловко поднялся и подошел к окну. Он стоял, угрюмый и подавленный, руки за спиной, раскачиваясь из стороны в сторону. Все кончено — побег удался, и Блэнкеншип уже хотел только одного — чтобы ему разрешили идти. Нет, он не обложил этих двоих: остановив расползание кризиса, он не затронул самую его сердцевину. Не справился, это главное, и теперь чувствовал лишь вялое,

сырое разочарование. Ему вспомнилось, как всего четыре часа назад, глядя на почти профессионально выломанные решетки, он ощутил знакомый холодок, отчетливое волнение; сознание было безукоризненно, воздушно-ясным, словно с глаз сорвали паутину и он первый раз в жизни смотрел на окружающий мир сквозь чистейшее прозрачное стекло. И как что-то большее, чем просто логика — скорее интуиция, — подсказало, что сбежавшие построили лодку. Даже теперь Блэнкеншип не мог понять, откуда пришла эта поразительная — и, что главное, верная — догадка. Она пришла, как озарение, и он уже не сомневался, он знал точно, как знают свое имя, звание и личный номер, и эта уверенность избавляла от необходимости проходить семь или восемь неуверенных шагов в темноте, неизбежных для любого другого.

Приказав включить сигнал тревоги и немедленно устроить переключку, он отправил два взвода охраны в мастерские на поиски спрятанной лодки или ангара, где ее строили. Когда десять минут спустя, торопливо выходя из арсенала и пристегивая на ходу пистолет, Блэнкеншип услышал в тумане сквозь пронзительный визг сирены возглас сержанта: «Комендор, мы нашли ангар... лодка была там...» — то не удивился и даже не испытал особого удовлетворения — он знал. Не ответив, Блэнкеншип сразу помчался в док и взял один из патрульных катеров, стоявших,

по его распоряжению, с включенными двигателями; он уже не надеялся поймать беглецов — туман рассеивался и в смутном утреннем свете пролив был недвижим и пуст, если не считать кормящихся чаек, — но по-прежнему целиком пребывал во власти странной смеси ярости и восторга.

Полковник повернулся:

— Скажите, комендор, как вы догадались, что они построили лодку? Маклин сказал, что вы на катере обыскивали окрестности уже через десять минут после того, как прозвучала сирена. Обнаружь патрульный выломанное окно часом раньше, они бы от вас не ушли.

— Ну, вплавь до земли не добраться: в такую погоду они бы замерзли до смерти — это раз. Последний паром уходит в полночь, и если бы они хотели спрятаться в грузовике или в чем-то таком на пароме, то не стали бы выламывать окно среди ночи, а залегли бы где-нибудь с вечера, а потом пробрались бы на борт — это два. И три — сильный туман. Лучших условий не придумаешь... — Блэнкеншип замялся. — Не знаю, сэр. Наверное, я просто почувствовал.

— Чудесно, чудесно, — пробормотал Уилхейт и замолчал.

Затем он улыбнулся; слова примирительные, обтекаемые, в них слышится облегчение, как будто он только что сбросил с плеч мешок с песком:

— Послушайте, комендор, как я уже сказал, тут нет ничьей вины. Мы на хорошем счету. Думаю, никаких санкций не последует. Я распоряжусь, чтобы все, что вы тут порекомендовали, было сделано и...

Полковник замолчал, слегка приподняв брови, и на его честном озабоченном лице появилась странная улыбка. Впрочем, если это выражение должно было означать неизъяснимое, чуть ли не сверхъестественное взаимопонимание, то цели оно не достигло. На миг во взгляде полковника мелькнуло нечто похожее на застенчивое восхищение, но Блэнкеншип лишь смущенно отвел взгляд.

— Да, сэр?

Улыбка пропала.

— Нет, ничего, комендор, — ответил Уилхойт поспешно. — Думаю, это все.

Когда он поднялся, Блэнкеншип тоже встал. Тут голос полковника вновь стал мягким, даже задумчивым.

— Господи, до чего мне надоела эта работа. Как же я завидую тем, кто служит в боевых частях. Почему меня послали не на Сайпан*, а сюда, к этим подонкам? В прошлом году я подал шестнадцать рапортов, и каждый раз мне приходил ответ, что медицинская комиссия отклонила мою кандидатуру из-за хрипов в груди.

* Остров в южной части архипелага Марианских островов. Во время Второй мировой войны американские морские пехотинцы высадились на Сайпан и с боями очистили остров от японских войск. — *Здесь и далее примеч. пер.*

Блэнкеншипу хотелось зажать уши, чтобы не слышать жалобных признаний, и все равно у него в груди шевельнулось сочувствие к этому человеку: надежд не осталось, и время ушло, но полковник не оставил золотой мечты исполнить свое предназначение. Жизнь уже катилась под гору, а судьба, должность и астма по-прежнему стояли между ним и целью всей его жизни. Старые солдаты не умирают, особенно если при жизни они были генералами, однако к полковникам это не относится. Вот почему Блэнкеншип был доволен своим миром, где простого понимания долга достаточно, чтобы порой испытывать пронзительный восторг, подобный сегодняшнему, и не надо биться головой о стену политики, амбиций и случайностей, как Уилхойту, в чьих глазах уже мелькали видения невыигранных сражений, неполученных наград и медленное сползание к бесславной отставке: лужайка с садовыми креслами, розовый садик и ленивый, сонный полет подков* на фоне пальм Сент-Питерсберга. От этой мысли Блэнкеншипу стало не по себе; он хотел, чтобы полковник закончил разговор и позволил ему уйти. Однако, когда тот наконец завершил свои излияния словами: «Такие дела, комендор, вечно эти скоты из штаб-квартиры ставят тебя раком», — странное, минутное

* Имеется в виду популярное развлечение — метание подков на столбик.

сочувствие заставило Блэнкеншипа улыбнуться в ответ.

— Я вас понимаю, полковник, — сказал он. — Мне тоже не нравится работать охранником.

Раздался стук в дверь, в следующую же секунду она отворилась, впустив порыв холодного ветра из коридора и хорошенькую блондинку лет тридцати, закутанную в меха.

— Милый, — произнесла она, запыхавшись, — мне нужно... Ой, простите, я не знала...

— Сюзи, — начал полковник, — я же говорил тебе...

Блэнкеншип двинулся в сторону двери.

— Ничего страшного миссис Уилхойт, я уже собирался уходить.

— Сюзи, я же говорил...

— Уэбби, мне надо успеть на одиннадцатичасовой паром, и если я собираюсь заказывать продукты, мне нужны деньги...

— Прошу прощения, миссис Уилхойт, — пробормотал Блэнкеншип, пытаясь проскользнуть мимо нее.

— Извини, дорогой, — продолжала она, — но мне нужно... Ах, мистер Блэнкеншип, вы ведь будете на банкете?

— На каком банкете, миссис Уилхойт?

— Как на каком? В честь Дня благодарения. Ведь вы мистер Блэнкеншип, я не ошиблась?

— Да, — ответил он быстро. — В смысле да, я буду на банкете, и да, я мистер Блэнкеншип.

Она негромко рассмеялась, и Блэнкеншип обнаружил, что глупо улыбается ей в ответ.

— Простите ради бога, — произнесла она. — На острове столько офицеров, и мы так редко видимся, что я все время путаю вас с этим... Как же его? Лейтенантом...

— Дорогая, — вмешался полковник, — если ты хочешь успеть на паром...

Она отвернулась, и Блэнкеншип выскользнул за дверь, надевая на ходу перчатки.

На улице сразу же налетел порыв сырого, холодного ветра, он поежился и поднял глаза к небу. Натянуло тучи. Солнечный диск в светящейся короне, как при затмении, бегущие по небу облака — предвестники темных серых туч, собиравшихся на севере, несущих с собой резкий ветер и обещание снега. На огромном плацу не было никого, кроме десятка серых фигур вдалеке: заключенные, построенные в колонну, уныло маршировали куда-то под охраной одинокого морпеха. На фоне надвигающегося ненастья кирпичные башенки и зубчатые стены тюрьмы вдруг приобрели суровое, средневековое величие, тут и там мерцали огни, хотя время только-только приближалось к полудню. Во всем пейзаже ясно читались признаки окончательного белого наступления зимы, и Блэнкеншипу, у которого в крови еще струился жар тропиков, они представлялись смутной угрозой. Быстро сбежав по ступенькам вниз, он поспешил в сторону карцера, минуя кучки мерзнувших

заключенных, которые в панике вскакивали при его приближении. Почти не глядя на арестантов, Блэнкеншип на ходу бросал им привычное «отставить», охваченный тяжелой бесильной злобой, навалившейся на него в кабинете полковника и не улетучившейся, как он надеялся, от дыхания холодного ветра.

Дело было не только в побеге, хотя мысль об утреннем провале пришла как удар в солнечное сплетение: когда сегодня на рассвете он несся на патрульном катере мимо скалистого мыса — пистолет наготове, ноги уперты в мокрый от брызг планширь, сирена надрывается воем, словно скованные в аду грешники, — Блэнкеншип, на мгновение поддавшись самообману, поверил, что засек этих мерзавцев. Однако его ждало разочарование. То, что в обманчивом утреннем свете он принял за лодку, на деле оказалось картонной коробкой, свалившейся с какого-то судна. Не желанная добыча, за которую он готов был отдать руку или ногу, а плавучий мусор с надписью «Консервированные супы “Хормел”» — обман зрения, вызвавший острое желание сию же минуту задушить производителя супов. В этой гонке его обошли по всем статьям. Пусть бы уголовники получили преимущество в одни корпус — это было бы честно и справедливо, — но никак не в два! И вдобавок, будто в насмешку, ему достается всякий хлам вроде коробки из-под супа, качающийся на волнах в кильватере их победы. Да, его обманули и

провели, и, шагая к карцеру, Блэнкеншип вдруг почувствовал себя настолько раздавленным и опустошенным, что впору было упасть без сил. Оставался еще один повод для беспокойства, что-то, о чем, он чувствовал, следует задуматься, но оно вылетело из головы, когда, уже входя в карцер, комендор заметил выражение лица сержанта Малкейхи и понял, что надо ждать новых неприятностей.

Кислая мина Малкейхи лишь частично объяснялась его унылым нравом — он к тому же страдал от последствий малярии. Худой, некрасивый, с огромным крючковатым носом, сержант был кадровым военным, прослужившим в армии пятнадцать лет. Заключенных, которых именовал не иначе как «вонючками», сержант глубоко презирал за то, что (как он объяснил Блэнкеншипу) они жили в свое удовольствие с бабами в Нью-Йорке или Чикаго, пока он «гнил в джунглях» на военной службе. Наверное, заключенным порядком бы от него доставалось, но для настоящего мучителя Малкейхи был слишком измучен малярией, войной и жизнью в целом, поэтому его хватало лишь на вялые пинки и затрещины.

— Это им только на пользу, — объяснял он Блэнкеншипу, когда тот делал ему внушения. В такие минуты на бесцветной, злобной физиономии сержанта ясно читалось отвращение.

— Как дела? — спросил Блэнкеншип.

— Да тут один придурок вообразил себя самым главным.

— Новенький?

Ворота медленно раскрылись, испустив пневматическое шипение.

— Ну что, поймали этих голубчиков, комендор?

Неуместный вопрос, да еще напомнивший о сегодняшней неудаче, так разозлил Блэнкеншипа, что он повернулся и рявкнул:

— Черт побери, Малкейхи, я же спросил: он новенький?

Малкейхи сразу же сник:

— Да, сэ. Пять дней на хлебе и воде.

— За что?

— За драку. Перевели из роты Б. Полковник распорядился, чтобы днем его держали наверху.

Блэнкеншип прошел к себе в кабинет — угловую комнату с огромными зарешеченными окнами. Малкейхи ковылял следом.

— Так в чем же дело? — спросил Блэнкеншип, усаживаясь за письменный стол. — В какую камеру его определили?

— В пятнадцатую, сэ. Честное слово, комендор, он просто отказывается подчиняться. Эта вонючка заявляется сюда с умным видом и начинает выделываться: ему, видите ли, не нравится, как тут пахнет; он «разочарован» — он так и сказал, комендор, честное слово, — тем, что его поместили в камеру без окон и с искусственной вентиляцией. Он чесал язы-

ком просто не умолкая. В жизни не видел такого наглого сукина кота.

— И что? — Пристально глядя на Малкейхи, Блэнкеншип чувствовал, как ярость заливает ему глаза: веснушчатое, болезненно-желтоватое лицо сержанта сморщилось от страха.

— И что? — повторил он.

— Комендор, я всего-то один разок и ударил. Легонечко...

— Черт побери, Малкейхи! — Блэнкеншип с силой рубанул кулаком по столу, утренние события троекратно усилили его ярость. — Я же просил держать свои ирландские лапы подальше от заключенных!

— Комендор, Христом Богом клянусь... — Для пущей убедительности Малкейхи закатил мутные желтоватые глаза. — Даже не до крови, — оправдывался он. — Я только...

— Молчать!

— Слушаюсь, сэр.

— Последний раз предупреждаю. Если услышу, что ты хоть пальцем тронул кого-нибудь из уголовников, будешь объясняться с полковником. Ты меня понял?

— Так точно, сэр, — мрачно ответил сержант.

— Ну хорошо, а теперь приведи сюда заключенного.

— Слушаюсь, сэр.

— И отдай мне дубинку, — добавил Блэнкеншип, протягивая руку. — Вы тут вконец одичали, мать родную готовы избить.

Малкейхи удалился с неуклюжей поспешностью. Немного успокоившись, Блэнкеншип сел в кресло, слегка досадуя на свою вспышку: вообще-то, несмотря на потрясающее невежество и прочие недостатки, Малкейхи был симпатичным парнем и хорошим морским пехотинцем. Однако когда Блэнкеншип откинулся назад в надежде чуть-чуть подремать, хотя бы выкинуть из головы утренние перипетии, прямо над головой завывла сирена, призывая на полуденную переключку. Звук был привычным, и в другой день комендор не обратил бы на него внимания, но сегодня, расстроенный и усталый, он чувствовал, как вой сирены нарастает мучительными волнами и, достигнув крещендо, вонзается в барабанные перепонки подобно ланцету. Окно приоткрылось. Блэнкеншип встал, разроняв бумаги, захлопнул раму и тут внезапно заметил дрожь в руках — это было настолько необычно, что вызвало некое подобие паники. Наверное, первые симптомы простуды, а может, малярия вернулась. Он направился к раковине, чтобы проверить в зеркале свои глаза, но тут послышался стук. Дверь открылась, и в этот момент сирена наконец перестала орать, замерев тоскливым стоном сожаления.

— Вот, комендор, это он, — пояснил Малкейхи.

Блэнкеншип сел, выпроводил Малкейхи и посмотрел заключенному прямо в глаза.

— Фамилия? — спросил он.

— Макфи.

Блэнкеншип отреагировал не сразу, поскольку арестант показался ему смутно знакомым — он определенно видел эти черты раньше. Странно, что запомнил: обычно лица заключенных представлялись ему однообразными бесцветными заготовками, на которые наклеены одинаковой формы пластилиновые рты, носы и уши. Еще удивительнее было выражение этого лица: на первый взгляд такое же, как у всех бледных, укрытых от солнца узников, но в нем угадывалось нечто неуловимо и незабываемо особенное — может быть, интеллект? И тут Блэнкеншип вспомнил: лицо выплыло к нему из облака сигаретного дыма и взрывов смеха; одновременно вспомнился голос («Виски, сэр?») — слишком честный, чтобы слышать в нем издевку, но все же с легким налетом насмешки, и едва заметная улыбка, вроде той, что играла на губах у Макфи сейчас, даже не улыбка — усмешка, свидетельствующая о странном внутреннем удовлетворении. Ну конечно! Они встречались месяца три-четыре назад: этот человек был официантом на вечеринке у полковника, единственной, на которой Блэнкеншипу довелось побывать.

— Послушай, Макфи, — произнес он наконец. — Не знаю, к чему ты привык на приемах у полковника, но здесь, у меня, когда тебя спрашивают, надо называть полное имя, фа-

милию и номер. И не забывать добавлять «сэр». Понятно? Давай попробуем.

— Макфи, Лоуренс М., 180611.

Последовала пауза, в которой хотя и не присутствовало открытого вызова, все же чудился оскорбительный намек, и «сэр» прозвучало лишь за полсекунды до наступления нестерпимого, критического момента. Это было удивительное нахальство. Блэкеншип почувствовал, что на него накатывает волна гнева, и причина тому вовсе не поведение заключенного. Нет, здесь, среди двух тысяч бесхребетных и малодушных невежд, такая отчаянная самонадеянность вызывала невольное восхищение. Блэкеншип по-прежнему не сводил взгляда с арестанта. Лицо молодое, лет двадцать пять — двадцать шесть на вид, с чертами, про которые говорят, что они «резко очерчены», и смелыми голубыми глазами. Без синей тюремной робы Макфи вполне мог сойти за звезду студенческого футбола: он был высок, широк в плечах и, даже стоя по стойке «смирно», сохранял расслабленную, надменную грацию профессионального спортсмена.

— В чем дело, Макфи? Дежурный сержант жаловался на твое поведение.

— Он бил меня.

— Малкейхи сказал, что ты тут разглагольствовал по поводу плохих условий...

— Это правда, — спокойно ответил Макфи. — Там жутко воняет. Я так и сказал, а этот урод набросился на меня с кулаками.

Блэнкеншип настолько опешил от такой откровенной дерзости, что встал с места, подошел к Макфи на расстояние фута и присел на край стола.

— Да неужели? Воняет, значит?

Взбешенный, с трудом подбирая слова, Блэнкеншип все же не сорвался на крик, что было совсем не просто, если учесть вскипавшую в груди ярость; больше всего его злила не сама наглость, а хладнокровие и самообладание, с которыми она подавалась. Он стоял так близко к Макфи, что чувствовал его теплое ровное дыхание, и впервые заметил круглый рубец на лбу — должно быть, след от удара Малкейхи. Это было лишь небольшое розовое вздутие и в то же время заметное и обличающее клеймо — крохотный знак и жестокого обращения, и незаконного насилия. Сейчас это давало Макфи легкое, но наглядное преимущество, что только усилило молчаливую ярость Блэнкеншипа.

Он никогда раньше не стоял с заключенным лицом к лицу. Поскольку в таком положении Блэнкеншип чувствовал себя неловко, он, немного поколебавшись, решил сменить тактику.

— Зачем ты устроил драку, Макфи? У тебя была непыльная работа в доме у полковника. А теперь будешь сидеть вместе с остальными бездельниками. Наверное, у тебя отличные характеристики, если тебе дали такую хорошую работу. Чем ты занимался? Служил на флоте?

— Уж лучше бы на флоте.

— Так откуда ты такой взялся?

— Из морской пехоты, — произнес Макфи с едва уловимой горечью и презрением.

Неколебимый и огромный, он двигался с бесившей Блэкеншипа животной грацией, и с приоткрытых в презрительной улыбке губ слетало теплое дыхание. Комендор не просто злился, он испытывал ледяную дрожь возбуждения, как будто видел в открытом неповиновении личный и чуть ли не физический вызов. У него возникло непреодолимое желание дразнить и провоцировать, хоть это было не в его правилах — с обычными заключенными Блэкеншип никогда до такого не опускался.

— Ты уже не в морской пехоте, Макфи, — негромко произнес он, — а в тюрьме. Ты зэк. Для тебя это новость?

Какую-то секунду они, не отводя взгляда, смотрели друг другу в глаза.

— Ты грязь. Подонок. Из тебя морпех как из Ширли Темпл*. Ты ниже китового дерьма на дне. Слышал такую поговорку?

Говоря так, он испытывал легкую брезгливость, будто с помощью стандартного набора заезженных оскорблений, вроде тех, какие машинально пускает в ход каждый второй безмозглый сержант на острове, он уни-

* Ширли Темпл (р. 1928) — американская актриса, наиболее известная по своим детским ролям в 1930-х гг.

жает не Макфи, а самого себя. И произнося их, он видел, как растет и ширится презрение в глазах Макфи, как в них вспыхивают огоньки насмешки. Блэнкеншип остановился и спросил:

— За что ты сюда попал? Дезертировал? Как большинство здешних «патриотов»?

— Так написано в моем личном деле. Но я называю это по-другому.

— И как же?

— Я считаю, что освободился.

— Освободился от чего?

— Может, наконец разрешите мне стать «вольно»? — спросил Макфи.

Это прозвучало не как просьба, а скорее как предложение, настолько наглое и безапелляционное, что Блэнкеншип, не успев даже опомниться, произнес «вольно». Расслабившись, Макфи рассеянно потрогал шишку на лбу и произнес будничным тоном:

— Если во что-то веришь, то дезертируешь. Если ни во что не веришь, это не называется «дезертировать», это называется «освободиться». Именно так я и поступил.

Его голос звучал спокойно и убежденно. В нем не было слезливых нот; этот голос — не интеллигентный, даже не слишком образованный, — несмотря на оскорбительные слова, был голосом здравого смысла. Необъяснимым образом звучащее в нем превосходство внушило Блэнкеншипу странное, мимолет-

ное уважение, и, возможно как раз из-за этого ярость с новой силой охватила все его существо. Сидя в кресле, Блэнкеншип смотрел на огромное грациозное тело Макфи, налитое небрежной, беззаботной мощью, и чувствовал, как от напряжения цепенеют руки и спина.

— Против корпуса морской пехоты, Макфи, бунтовать нельзя, — произнес он.

— Это кто сказал, что нельзя? Мне впаяли шесть лет, но у меня получилось.

— Возможно, твоя душа по-прежнему принадлежит Господу, но твоя задница принадлежит мне. И Уставу военно-морского флота Соединенных Штатов.

— И что? — хмыкнул Макфи.

— А то, что тебя поимеют дважды. Совесть у тебя есть, Макфи? Даже у последнего подонка есть совесть. А значит, никуда ты не сбежал. Почему ты думаешь, будто освободился, если тебя упекли на шесть лет? И каждую минуту из этих шести лет ты будешь помнить, что, пока ты тут отдыхаешь на нарах, другой бедолага будет за тебя драться и подыхать там, откуда ты слинял. И после этого ты можешь спать спокойно?

Секунду Макфи раскачивался на пятках, небрежно расслабившись, ничего не отвечая. Однако усмешка не исчезла; в глазах, похожих на голубые осколки битого стекла, мерцало презрение. Затем он произнес:

— *Semper fidelis**. Какие же вы все идиоты. В мирное время вы, кадровые военные, не найдете никакой работы: вас не возьмут даже туалеты мыть.

Блэнкеншип не мог вспомнить, в какой момент он ударил Макфи. Определенно не сразу; позднее в тот вечер, сидя в пустой кают-компании, он готов был поклясться, что они обменялись еще парой фраз. Это он помнил точно, даже когда рассеянно слушал радио, передававшее какую-то танцевальную музыку, и время от времени поднимал глаза на снегопад за окном, бесшумно сыпавший мокрые хлопья на потемневший пролив Лонг-Айленд; его затуманенный виски мозг — он выпил не меньше пинты — тщетно пытался найти хоть какое-то оправдание, способное смягчить давящее чувство вины. Да, сегодня случился побег, из-за этого он злился, потерял контроль над собой, но ведь подобное происходило и раньше, в боевых условиях, и разве это оправдывает такое вопиющее нарушение дисциплины — единственное на его памяти за последние десять лет? А Макфи... Ну что Макфи? Знай раньше Блэнкеншип то, что знает теперь (из личного дела, лежавшего на радиоприемнике, и девяноста страниц убористым шрифтом материалов военного трибунала), это все равно не отменило бы вызывающего поведения и оскорблений, спровоцировав-

* Всегда верен (*лат.*) — девиз корпуса морской пехоты США.

ших комендора. Да и откуда ему было знать. Тем не менее факты (благодарность командования, вынесенная «за особые заслуги» на Нью-Джорджии*, и два «Пурпурных сердца»**) и материалы суда (шесть лет за дезертирство, причем максимальный срок — шесть лет — не потому, что судьи не заглянули в его прекрасный послужной список, нет: согласно показаниям офицера военной полиции, который следил за Макфи по всему пути от Сан-Диего до Тампы, при аресте он оказал отчаянное, ожесточенное сопротивление: заблокированный в ресторане, отстреливался из-под прилавка, выпустив в нападавших шесть пуль из револьвера «смит-вессон» двадцать второго калибра (одна пуля оцарапала ухо офицеру ФБР, присоединившемуся к погоне по собственной инициативе, а когда патроны кончились, в ход пошли чайные чашки, бутылки кетчупа и даже его собственные часы) говорили сами за себя. От них нельзя было просто отвернуться, поскольку они придава-

* Нью-Джорджия — остров архипелага Соломоновы острова в южной части Тихого океана. Во время Второй мировой войны на Нью-Джорджии американскими войсками была проведена военная операция, начавшаяся 30 июня 1943 г. 23 августа остров был полностью взят под контроль американцами.

** «Пурпурное сердце» — военная медаль США, вручаемая всем американским военнослужащим, погибшим или получившим ранения в результате действий противника.

ли проступку Блэнкеншипа, который теперь сидел, хрустя костяшками пальцев в холодной кают-компании, смутный оттенок чего-то постыдного. Нет, даже сейчас Блэнкеншип не испытывал ни малейшего сочувствия к Макфи: тот получил по заслугам. Однако как офицер он четко осознавал, что за подобное нарушение Устава его следует, хотя бы теоретически, отдать под трибунал, а значит, он сам еще хуже Макфи. Последнее дело — пускать в ход кулаки.

И тут Блэнкеншип вспомнил, как все случилось. Почти в ту же минуту, когда, сквозь стучащую в висках кровь, он услышал голос Макфи:

— И когда только вы поумнеете? Морской корпус — одна большая тюрьма. Это вы зэк, комендор.

И повторил с гадкой, едва заметной усмешкой:

— Это вы зэк.

Влажной от пота рукой Блэнкеншип схватил со стола дубинку, отобранную у Малкейхи, и, чувствуя, как мускулы собираются в тугой узел, почти машинально, одним тяжелым ударом въехал Макфи в челюсть. Он видел, как огромное туловище Макфи, обмякнув, мотнулось назад и врезалось в стену; видел в расширенных белых глазах арестанта удовлетворение от произведенного эффекта, абсолютную самоуверенность и вызов; сползая вниз, тот продолжал шевелить губами:

— Ты зэк, сукин ты сын.

МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ МАРИОТТ

Весной 1951 года, когда меня призвали в морскую пехоту для участия в корейской войне, мне было чуть больше двадцати пяти, но я чувствовал себя проигравшим. Позднее я написал повесть, в основу которой лег тот период моей жизни; возможно, те, кому довелось ее прочесть, найдут здесь определенные параллели, поскольку я время от времени неизбежно буду касаться пережитого в ту пору душевного кризиса. Вообще-то я человек мирный, даже, можно сказать, тихий, штатский до мозга костей, и всякая мысль о военной службе рождает у меня в душе музыку скорби — это не флейты, не валторны и не призывный зов труб, а глухие барабаны, медленно выбивающие тусклую погребальную мелодию. В моих воспоминаниях о корпусе морской пехоты почему-то всегда идет дождь. Картина в мозгу совершенно отчетлива: Гавайи, тропический ливень, а я, облаченный в жаркую непро-

мокаемую накидку, стою в очереди к полевой кухне и замороженно смотрю, как мой котелок заполняется маслянистой дождевой водой. Мысли блуждают, и в памяти всплывает прежняя тоска, ожидание — невыносимое, мучительное ожидание, неприличная давка и толкотня, отвратительная еда, пот, мухи, ничтожная плата, страх, тревога, бессмысленные разговоры, треск выстрелов, оскотинивающее воздержание, пустая, недолгая дружба, унижительное наследие кастовой системы, пробуждающее в людях самые подлые инстинкты. Я вновь и вновь извожу себя мыслями о тех днях: так, со смешанным чувством отвращения и радости, вспоминают неприятные события, благополучно оставшиеся в прошлом.

Нет, таким, как я, вялым и склонным к лишним размышлениям, не место в морской пехоте. И тем не менее многие из тех, кто прошел через подобное испытание, испытывают нечто вроде ностальгии (бывшие заключенные часто видят сны, в которых они снова оказывают в тюрьме); кроме того, корпус морской пехоты не армия и не флот, а нечто совершенно отдельное. Возможно, следует признать неприятную правду: несмотря на все изложенное выше, корпус морской пехоты внушил мне определенное уважение — даже восхищение, — от которого я, как ни старался, за столько лет так и не сумел избавиться. В результате, словно вуайерист, кото-

рый борется с собой и все равно периодически оказывается поблизости от общественных бань, я постоянно обращаюсь к тем памятным дням и против воли выдаю самые глубинные тайны этой зловещей организации.

Так или иначе, новый призыв почти раздавил меня. Я прослужил три года в морской пехоте во время Второй мировой войны. В ту пору я был забиякой, настоящим солдатом и к тому же испытывал невероятное почтение к службе, на которую отбирали самых молодых из моего поколения. Доброволец, я прошел все ступени от рядового до младшего лейтенанта, проведя большую часть срока на базах в США, но все-таки ближе к концу войны успел хлебнуть лиха на Тихом океане, что полностью отбило у меня стремление к военной карьере. После увольнения в запас я получил возможность закончить колледж, а затем с головой погрузиться в новый для меня мир слов. Примерно через год с помощью уловки, рассчитанной на мою косность и самолюбие, корпус морской пехоты снова привлек меня в свои ряды. Мне предложили повышение до лейтенанта и статус резервиста, который не требовал участия в каких-либо учениях или тренировках и вообще не налагал никаких обязанностей, кроме обещания снова встать в строй в случае начала войны. Но каким же невероятным казалось это событие в грозной тени атомной бомбы! Я не раздумывал

вая заглотнул наживку, пав жертвой «ненавязчивой рекламы». Когда спустя три с небольшим года я получил приказ (в пяти экземплярах) явиться для дальнейшего прохождения службы во вторую дивизию корпуса морской пехоты в Северной Каролине, меня охватило невыносимое отчаяние — отчасти потому, что это случилось не без моего участия. Однако, по меткому замечанию Бисмарка, могущество державы держится лишь на слепом повиновении.

Поскольку речь в рассказе пойдет не обо мне, а о Поле Мариотте, который во время описываемых событий был подполковником морской пехоты, я не хочу тратить много времени на описание обстоятельств, приведших к нашему знакомству. Впрочем, если быть до конца честным, нельзя не упомянуть тягостную атмосферу уныния — «отчаяние» не будет тут слишком сильным словом, — окружавшую меня и моих друзей, когда мы на полном серьезе репетировали начало новой войны. Не будь я столь подавлен, растерян, столь одинок в этом новом и вместе с тем мучительно знакомом окружении, я бы не стал бессознательно искать кого-нибудь, с кем можно найти общую тему для разговора, и не обратил бы внимания на Пола Мариотта. Мы бы так и не познакомились, и я бы никогда не узнал этого замечательного человека, взлелеянного корпусом морской пехоты. И поэтому, хотя бы для одного себя, я должен обрисовать

свое душевное состояние той поры и подробно описать затруднительное положение, в котором многие из нас оказались той весной и в последующие месяцы.

Легко догадаться, что к тому времени мои взгляды на жизнь сильно поменялись. Я больше не верил в идеалы долга и самопожертвования. В колледже я изучал гуманитарные науки, и у меня, как у многих моих современников, сформировалось отвращение к войне; упоение иллюзорной и романтической «победой» миновало, и у нас появилось предчувствие, что последний акт драмы — поражение и капитуляция Японии — был не концом, а всего лишь прелюдией к череде войн, равных которым по бессмысленности и жестокости мир еще не видел. Более того, у меня были свои особые причины для желания оставаться штатским: призыв на военную службу в тот период моей жизни представлялся мне особой, возмутительной несправедливостью. Дело было даже не в том, что я почувствовал вкус богемной жизни: поселился в Гринич-Виллидж, отрастил длинные волосы и завел привычку вставать с постели не раньше двух часов дня. Мой первый роман должен был вот-вот выйти из печати, и у меня были все основания полагать, что его ждет головокружительный успех. Роман писался долго и тяжело. Я вложил в него всю страсть и жизненную силу, отпущенную молодости, и в литературном плане был им доволен (насколь-

ко это в принципе возможно), однако, будучи по характеру безобидным эксцентриком, жаждал насладиться всеми теми дополнительными радостями, которые сваливаются на головы одиноких молодых людей, когда те становятся успешными писателями: я представлял себе всеобщее обожание, лесть и шумиху, толстый кошелек и элегантные брюки, обеды в «Колони» и «Шамборе», видел, как прокладываю себе дорогу сквозь галактики молоденьких кинозвезд и серали распутных матрон с Парк-авеню, мечтающих о малейшем знаке внимания с моей стороны. Очевидно, это были пустые, но трепетно взлелеянные мечты, и контраст между ними и надвигающейся реальностью — я видел, как замерзаю в открытой всем ветрам корейской тундре, в ноздри мне лезет вонь кордита, а сердце леденеет от ужаса — казался уж слишком жестокой насмешкой. Словно во сне, я готовился снова вернуться на войну. Я коротко подстригся и забрал из хранения зимнюю форму — бушлат был в порядке, хоть и немного тесноват в талии, а вот фуражка оказалась полностью съедена молью, и кожа на ботинках заплесневела.

Даже день моего отъезда на службу был отмечен зловещими предзнаменованиями, которые я никогда не забуду. За неделю до этого президент Трумэн благоразумно снял генерала Дугласа Макартура с поста командующего силами ООН и войсками США на Даль-

нем Востоке — эта отставка, как многие, вероятно, помнят, вызвала у десятков миллионов американцев приступы бешеной ярости. По воле случая генерал Макартур выбрал для триумфального возвращения в Нью-Йорк тот самый день, когда я должен был садиться на поезд, следовавший на юг. В первый раз за много лет на мне была военная форма. Не знаю почему, но день этот запомнился мне необыкновенно четко: голуби кружат в небесной синеве, деревья на улицах Ист-Сайда уже совсем зеленые, огромные толпы на Пятой авеню, и надо всем этим беззвучным речитативом — ритмичными подъемами и падениями, словно отдаленный гул миллиона крошечных насекомых, — алчное жужжание патриотической истерии. Мне никогда раньше не приходилось так явственно слышать этот зловеший, идущий из множества глоток голос; он казался оскорблением чудесному дню, и отчасти чтобы укрыться от него, мы с провожавшей меня девушкой нырнули в темный бар отеля «Шерри Нетерленд», где я методично и дико напился. Несмотря на это я помню тот вечер со странной ясностью: Лорел, моя подружка — невысокая блондинка с изящной фигурой, замужем за уважаемым человеком (врачом), — с которой у меня сложились не лишённые нежности, но преимущественно чувственные отношения, сидела, прижавшись ко мне в прохладной темноте бара, и, кусая губы, гадала насчет отпусков,

увольнительных, выходных. В зале было полно народу, все громко разговаривали, и я услышал, как кто-то сказал:

— Деэскалация войны может плохо отразиться на рынках.

Я никогда до этого не слышал слова «деэскалация», гораздо чаще «эскалация» — один из неологизмов, возникших после Хиросимы, — и само по себе это слово показалось мне еще гаже, чем чувство, его породившее.

Однако я приблизился к той точке, когда мне стало уже все равно. Поддерживаемый моей скорбной Лорел, я нетвердой походкой выбрался на яркий свет Пятой авеню. Отовсюду на меня смотрел «Джорнал американ» с болезненно-красным заголовком на первой странице — «Боже, храни генерала Макартура», — и почти в ту же минуту мы увидели генерала собственной персоной: он ехал в открытом «кадиллаке», окруженный конвоем мотоциклистов, на нем была пижонская фуражка, чуть сдвинутая набок, в зубах — кукурузная трубка. Он быстро гримасничал, глядя прямо на меня, и за малиновыми стеклами очков глаза его казались безжизненно-непрозрачными и таинственными, как у сытого льва, задумчиво переваривающего антилопу, или, если точнее, как у человека, чьи мысли заняты царственными мечтами, величественней которых не было и не будет. На фоне его триумфа я почувствовал себя абсолютно незащитным. Меня охватили об-

реченность и тоска, и я с трудом подавил желание набить морду идиоту, завопившему рядом: «Удавить бы мерзавца Гарри Трумэна!»

В такси, везшем нас к вокзалу Пенн-Стейшн, я нарочно отворачивался от водителя, который пришел в полный восторг от моей военной формы и именовал меня героем; обменявшись с Лорел последним страстным поцелуем на прощание, я почти сразу прошел в вагон и всю дорогу до Фредериксбурга, Виргиния, проспал беспробудным сном.

Лагерь, в который мне надлежало явиться, первоначально носил название Нью-Ривер. Позднее его переименовали в Кэмп-Лэджен, в честь знаменитого командира Корпуса морской пехоты времен Первой мировой. Расположенный среди пальмовых зарослей побережья Каролины, по меркам военных лагерей был еще совсем молодой; на следующий день после моего прибытия он весь бурлил и кипел, в точности как я его запомнил. В прошлую войну я провел здесь несколько очень тяжелых месяцев, и теперь сердце болезненно сжалось при виде широких асфальтовых дорог, заполненных марширующими людьми, — ведь я долго верил, что никогда больше не услышу устрашающего топота форменных ботинок, — и кирпичных барачков с башенками, живо напомнившими мне университетский кампус. Наверное, подобные чувства испытывает бывший заключенный, пригубивший сладкий вкус свободы

лишь для того, чтобы, глядя на знакомые стены, вновь ощутить себя преступником у ворот тюрьмы. Погода стояла теплая не по сезону. Все на базе уже переоделись в х/б, и я в своей зеленой суконной форме чувствовал себя чересчур заметным и едва не задыхался от жары. Мучимый похмельем, от слабости я с трудом стоял на ногах; будущее рисовалось мне в таких мрачных тонах, что мозг отказывался размышлять на тему следующего года или нескольких лет, и мысли уносились в прошлое.

Я стоял у окна на верхнем этаже административного здания и курил, ожидая приема у заместителя командующего. За окном почти до самого океана простиралась болотистая низменность, вся в зеленом разливе весны. Кипарис, кустовой дуб, карликовые пальмы, заросли ниссы и длиннолистой сосны, уходящие корнями в топи эстуария, питаемые коварными темными водами, в которых многие новобранцы едва не нашли свою гибель; десять лет назад здесь был край дикой, нетронутой природы, и генералы, осмотрев его с воздуха, сочли, что именно здесь надо тренировать молодых людей в свете новой военной теории — или, как у них принято говорить, «доктрины» — морских десантных операций. Суровое и труднодоступное, далекое от больших городов, место оказалось идеальным для подготовки к самому жестокому сражению, какое только знала история войн: зимой здесь

было холодно, летом — жарко; из обитателей только комары, клещи и блохи, а еще опоссумы, гремучие змеи, рыси, медведи и — на дальней периферии лагеря — заброшенная негритянская деревушка. Когда-то ее жители добывали средства на скудное существование, выращивая табак и арахис. Эти люди жили здесь на протяжении многих поколений, но, обозревая эту местность с воздуха, никто не обратил на них внимания. Стоя у окна, я снова вспомнил, как мне рассказывали, что несколько негров покончили с собой, лишь бы избежать выселения. История вызвала множество пересудов, поскольку, согласно южной мифологии, самоубийство — большая редкость среди людей этой расы, привыкших терпеливо переносить страдания.

Так или иначе, кто-то предпочел свести счеты с жизнью, остальные получили «справедливую» компенсацию и были выселены в другие районы. После себя они оставили разбросанные вдоль пыльных проселков полуразрушенные амбары, сараи, деревянные сортиры и хижины, а также кучку придорожных магазинов, залепленных рекламой кока-колы, «Доктора Пепшера» и нюхательного табака «Копенгаген». Покинутые, с выбитыми окнами и покосившимися крылечками, со свисающими лохмотьями толя, они утопали в зарослях одичавших подсолнухов и высоких трав, прятались в джунглях жимолости, и сквозь сонное гудение пчел лишь отчетливее

слышалась последняя тишина утраты, молчание остановившейся жизни. Однако даже заброшенные, эти лачуги и магазины не стояли совсем без пользы: они служили для полевых учений — как объекты, которые требовалось захватить, или для артиллерийских стрельб, — и, глядя вниз на зеленый покров леса, я вспоминал жаркий летний день 1944 года, когда мой взвод раз за разом обрушивал на заброшенную лачугу шквал минометного огня, пока не изрешетил ее в щепки и не осталось ничего, кроме единственной криво намалеванной вывески «Универсальный магазин Уайтхерста», которую мы нашли в груде обломков. Я почувствовал небольшой укол в сердце: нет, не из-за того, что жалел старую развалюху, и совесть меня не мучила, просто девичья фамилия моей бабки по отцу была Уайтхерст; ее семья двести лет жила на юго-восточном побережье и владела неграми, которым досталась фамилия Уайтхерст. Выходило, что владелец магазина почти наверняка вел свой род от рабов, которыми владели мои предки, — не был ли он в числе тех, кто от горя покончил с собой? Это так и осталось для меня тайной; стоя над дымящимися руинами, я невольно сожалел, что именно мне выпало руководить окончательным уничтожением того, что было так дорого одному из Уайтхерстов.

Заместитель командующего оказался немногословным майором с недоверчивым

взглядом. Он не слишком впечатлился моими заявлениями, что я принесу наибольшую пользу где-нибудь в тылу, в областях, требующих квалифицированного умственного труда — я пробормотал что-то вроде «связей с общественностью», — и отправил меня командовать взводом минометчиков в одну из пехотных дивизий. В тот же день я доложил своему батальонному командиру, и мне показали место, где я буду жить следующие несколько месяцев перед отправкой в Корею: комната на третьем этаже кирпичного барака, служившего общежитием холостых офицеров — ОХО. Комната, рассчитанная на двоих, оказалась просторной и довольно уютной, но и она, и само здание — казенное, утилитарное, с темными гулкими коридорами и «удобствами» на этаже, заполненными звуками содрогającychся писсуаров и туманными миазмами рычащих душевых кабинок, — снова мучительно напомнили мне колледж, студенческое общежитие, и тут я осознал, что моя жизнь действительно повернула вспять.

Впрочем, в отличие от студенческого общежития ОХО располагало серьезным, большим баром, который вполне подошел бы для скромного отеля: именно там, где коктейли продавались по двадцать пять центов (как соблазнительно доступны земные блага на военной службе, по крайней мере за линией фронта), каждый вечер, в пять часов, собирались отозванные из резерва офицеры, без

формы, в ярких спортивных рубашках; их товарищество было скреплено обидой, негодованием, беспокойством, тоской по дому и желанием быть выслушанным. Никогда, даже в прошлую войну, не завязывалось таких быстрых дружб, не возникало такого единства; именно там, в баре общежития холостых офицеров, обсуждали мы в ту весну свои горести. И в первый же день — ну, может, во второй — я познакомился с Лэйси Данлопом, который, как большинство холостых офицеров, вовсе не был холостяком.

— Посмотри на них, — сказал Лэйси, обведя рукой темную комнату. — Братство проклятых. Ты в курсе, что в Хвачхонском котле ожидается новое китайское наступление? Могу поспорить, что к осени половине присутствующих отстреляют задницу. И все потому, что мы подписали эту гнусную бумажонку.

— Давно ты здесь? — спросил я.

— С конца января. Командовал пехотным взводом в шестой дивизии морской пехоты. Здесь был настоящий ад. Ты даже не представляешь, какой жуткий холод зимой в этих болотах. Я шесть лет не держал в руках винтовку, а тут под моим началом оказался целый выводок желторотых птенцов прямо из Пэррис-Айленда*. Бог мой, это был кошмар! Я превратился в старую развалину, забыл, как читать

* Пэррис-Айленд — военная база США, где проходят начальное обучение рекруты морской пехоты.

карту, а мне нужно было им показывать пример боевого духа и всякой такой фигни.

Он остановился и закинул в рот оливку из своего бокала с мартини.

— Честное слово, только тот, кто провел шесть недель в болоте зимой, может понять, какое это блаженство — весна.

Из музыкального автомата зазвучала песенка «Моя блондинка», и меня охватило острое чувство несвободы. В военной обстановке популярные мелодии подчеркивают оторванность от привычного уклада: ведь обычно в этих песенках поется про такие мирные занятия, как, например, бейсбол или любовь, и потому, когда слышишь их здесь, становится обидно, словно тебя дразнят. В прошлую войну для меня такой песней была «Отпусти меня» Бинга Кросби, а теперь я понял, что ее место заняла «Моя блондинка» — громкая, бравурная, бесконечно печальная. Я бы довольствовался торжественной мессой Бетховена.

— С тех пор как началась корейская заварушка, корпусу пришлось пересмотреть свои привычки, — продолжил Лэйси. — До сих пор морпехи шныряли по джунглям, громили япошек в Тихом океане или выполняли приказы Уолл-стрит на Гавайях и в Никарагуа. Большая часть войн, в которых они участвовали, велась в тропиках. А в прошлую зиму, после отступления из Чосинского кот-

ла*, когда ребята там себе все яйца отморозили, отцы-командиры решили вырабатывать «зимнюю стратегию» — как тебе формулировка? — а в действительности это привело к тому, что мой батальонный командир, Хадсон, у которого и так-то шило в заднице, просто помешался на форсировании замерзших ручьев — ни одного не пропускал. Дружище, апрель — лучший месяц из всех, что я знаю, и ты должен Бога благодарить, что попал сюда только сейчас.

— А когда, по-твоему, нас отправят в Корею? — спросил я.

— Не знаю. Да и никто, похоже, не знает. Думаю, не раньше середины лета. А может, и вообще никогда. Мы вообще-то свое отвоевали, с меня хватит. Я сыт по горло этим Востоком — пусть сами разгребают свое дерьмо.

Так получилось, что из всех офицеров-резервистов я ближе всего сошелся с Лэйси Данлопом. Нас многое объединяло — не только безрадостное будущее, — и мы с ним крепко подружились. Лэйси уже исполнилось двад-

* Чосинский котел — битва при Чосинском водохранилище. В 1950 г. в ходе корейской войны силы ООН, состоящие из военнослужащих США и Великобритании, были окружены и отрезаны от снабжения превосходящими силами Китайской народной армии. В тяжелейших зимних условиях (глубокие сугробы, температура до минус 40°) американские подразделения сумели прорвать кольцо окружения и пробиться к Хыннамуну, откуда впоследствии были эвакуированы по морю.

цать девять — чуть больше, чем мне, — но выглядел он почти подростком. У него было открытое мальчишеское лицо с курносым носом и голубыми глазами — точь-в-точь идеальный американский юноша с рекламы кока-колы, — однако впечатление незамутненной чистоты было чисто внешним, поверхностным: под ребяческой внешностью скрывался сложный, противоречивый характер и насмешливый, саркастический ум. Таким его сделала война. В двадцать лет Лэйси получил звание младшего лейтенанта взвода и участвовал в жесточайших сражениях на Окинаве; он выжил и даже не был ранен, но у него осталась боль воспоминаний о тех, кто погиб рядом с ним, — «как термиты», сказал он.

После войны Лэйси окончил университет в Колумбии, своем родном городе, получил степень магистра философии, а потом уехал во Францию учиться в Сорбонне. Там он женился на француженке и там же — как он выразился, «в припадке безумия», — подписал бумагу, что согласен числиться в резерве. Вскоре после того Лэйси получил известие о смерти отца — патриарха старинного американского рода и владельца небольшого, но процветающего научного издательства — и вместе с молодой женой вернулся в Нью-Йорк, чтобы возглавить фирму и жить спокойной размеренной жизнью, в которой было бы «хорошее вино, хорошие книги и музыка, воспитанные дети и каждое лето два

месяца во Франции». Однако эти мечты разбились в пух и прах. В отличие от некоторых резервистов он воспринимал свое нынешнее положение без возмущения, а скорее со сдерживаемым отчаянием, проникнутым мрачным добродушием. Единственное, чего, по его собственным словам, Лэйси боялся, — это что его убьют и они с его женой Анни так и не съездят будущим летом в маленький домик, который он купил в горах неподалеку от Грасса.

— Понимаешь, есть разные степени несчастья, — продолжал он, — и этот факт должен послужить тебе утешением, хотя бы относительным. Взять, к примеру, твою собственную ситуацию. По восходящей шкале, от одного до десяти, я бы поместил ее где-то на уровне единицы или даже меньше. Почему? Ну, начать с того, что ты не женат, у тебя нет финансовых обязательств, ты никого не должен кормить, а потому твой индекс несчастья пренебрежимо мал. Да, ты лишен регулярной половой жизни, но что поделать, у кого из нас она есть? Ты хотя бы закончил свою книгу, и теперь можешь рассчитывать на кусочек бессмертия и немного денег в придачу, если, конечно, доживешь. А кроме того не забывай, ты офицер и по сравнению с призывниками живешь в относительном комфорте. Поэтому я бы поставил тебя на самую нижнюю ступеньку из всех возможных.

— А как насчет тебя, умник? — спросил я. Двдцатипятицентовый бурбон разлился по

жилам успокоительной грустью, и, поддавшись игре, я колебался между невнятным раздражением и искренним восхищением. — Девять? Или десять?

— Ну нет, это уж слишком. Если говорить о степени несчастья, то тут я ни на что не претендую. Да, у меня есть жена, что дает мне преимущество перед тобой. Поскольку квартиру тут снять невозможно, это добавляет мне очков. Но у нас нет детей — случайность, однако в данных обстоятельствах она только к лучшему. И кроме того я нашел хорошего профессионала, который управляет семейным бизнесом, так что фирма приносит доход даже в мое отсутствие. С моей стороны было бы просто свинством оценить степень своего несчастья выше, чем на два или на три балла, хотя счастливецem меня не назовешь.

Бар потихоньку заполнялся офицерами, преимущественно лейтенантами и капитанами. Большинству из них было от двадцати пяти до тридцати пяти лет, и одеты они были в спортивные рубашки и брюки свободного покроя, если не считать двух десятков молодых людей в испачканных зеленых штанах, только что с каких-то учений, которые, истекая потом, жадно прикладывались к банкам с пивом. По двое или по трое, небольшими группками, они сидели развалившись за столиками или стояли у стойки бара, а их голоса, негромкие, но очень напористые, наполняли воздух гулом недовольства. Време-

нами слышался смех, однако он звучал невесело и быстро обрывался, поскольку был тут явно неуместен. Меня удивила легкость, с которой я теперь отличал новоприбывших, вроде меня самого, от стариков — тех, кто, как Лэйси, провел тут уже несколько месяцев. Ветераны казались подтянутей и загорелей, их отличала мрачноватая непринужденность людей, сумевших приспособиться к новой жизни; медленно, с трудом, восстановили они забытые навыки и привычки; на их лицах появилось выражение покорности судьбе, и все они выглядели старше своих лет. Новоприбывшие, у большинства из которых был желтоватый цвет лица и над ремнями нависали характерные жировые складки, говорящие о сидячем образе жизни, напоминали мне мальчишек в летнем лагере — измученных тоской по дому, оглядывающихся в поисках новых друзей и при том совершенно разболтанных.

Впрочем, вне зависимости от личных обстоятельств нас связывало гнетущее сознание, что меньше чем за десять лет мы второй раз столкнулись с перспективой насильственной смерти. В принципе можно сказать, что мы сами во всем виноваты. И пока мой взгляд скользил по угрюмым лицам штатских людей — владельцев магазинов, конторских служащих, кадровиков и продавцов, — собранных в столь неподобающем месте, меня вдруг охватило дурное чувство относительно наше-

го присутствия в этих диких болотах. Чувство это касалось гораздо большего, чем отдельная судьба каждого из нас или даже наша общая участь. Мне казалось, что все мы жертвы слепой агрессии, ненасытной жажды кровопролития, захватившей не только Америку, но и весь мир, и, осознав это, я не мог унять нервной дрожи.

Меня клонило в сон, я уже поднялся, чтобы пойти к себе и подремать часок до обеда, когда Лэйси положил руку мне на плечо и сказал:

— Тут немало людей со степенью несчастья пять, шесть или даже семь — это те, у кого много детей, или те, кто лишился работы, а иногда и то и другое вместе. Они очень несчастны. Но настоящих девяток или десятков очень мало. Если хочешь увидеть действительно несчастного человека — посмотри-ка вон туда.

Мистер Несчастье, угрюмый лысеющий здоровяк лет тридцати, с развитыми бицепсами, крепкими запястьями и очками в тонкой проволочной оправе, придававшими ему профессорский вид, уныло сидел за соседним от нас столиком. Перед ним стоял бокал с каким-то напитком темного цвета, и было видно, что за сегодня это далеко не первый.

— Это Фил Сантана. Если бы ты следил за новостями спорта, ты бы наверняка о нем слышал. Лет пять назад он был известным гольфистом-любителем, выиграл несколько

крупных турниров, затем перешел в профессионалы. Потом воевал на Иводзиме — говна там нахлебался досыта. Капитан. Жена и трое детей, был профессиональным игроком в каком-то модном клубе около Кливленда, открыл магазин товаров для гольфа — дела шли в гору. В таком деле успех полностью зависит от умения общаться с людьми. Его нельзя никому перепоручить. На то, чтобы построить бизнес, у Филадельфии ушло три или четыре года напряженного труда, и как только он уехал, сразу все рухнуло. Пришлось ему продать дело. Мне его очень жаль, на самом деле.

— И что же он теперь будет делать?

— У него теперь только один выход — стать кадровым офицером. И он сказал мне, что так и сделает.

Я надолго замолчал, обдумывая эту горестную историю, и наконец сказал:

— Ужасно. Просто ужасно.

Я действительно так думал.

— Превратности войны, — отозвался Лэйси.

Я извинился и встал, уже собираясь идти, и в ту же секунду музыкальный автомат снова ожил: яркий мигающий свет и «Моя блондинка» залили бар синтетическим восторгом. В дверях я бросил последний взгляд на бывшего гольфиста, и на какое-то мгновение мне почудилось, что его лицо с запечатленными на нем отчаянием и горечью потерь вопло-

тило в себе безнадежное, тоскливое расположение духа, охватившее всех, кто присутствовал в зале.

II

Однажды вечером, примерно три недели спустя, я впервые встретился с Полом Мариоттом. Командир батальона, в котором служил Лэйси, устраивал в офицерском клубе вечеринку: ему дали майора, и новое звание полагалось обмыть. Я не был с ним знаком; на самом деле я не знал почти никого из кадровых офицеров — вечером после службы я просто обходил их, как и все остальные. Между резервистами и кадровыми военными не было враждебности — это противоречило бы требованиям дисциплины и порядка, — но все же между нами существовало некое отчуждение, как будто неписанный закон велел нам соблюдать беззлобный социальный апартеид наподобие того, что принят между белыми и неграми на Юге.

В дополнение к существовавшим между нами философским противоречиям — антивоенным по своей природе — мы, живя на гражданке, не имели никаких общих точек соприкосновения с военными. Они были целиком поглощены своими учебниками боевой подготовки, штатным расписанием и мечтами о продвижении по службе. Что касается

нас, то карьерным офицерам надо было быть совсем уж бесчувственными, чтобы не заметить нашу почти не скрываемую досаду и горечь. Поэтому после пяти вечера мы расходились в разные стороны: они к своим женам, ухоженным газонам и привычной обстановке семейных домиков за территорией базы, а мы в бурлящий клуб нашего ОХО, где могли брюзжать и злобствовать сколько душе угодно.

В силу каких-то причин — возможно потому, что он дольше нас всех участвовал в боевых действиях на Тихом океане, — Лэйси был одним из немногих резервистов, которые свободно чувствовали себя в обоих лагерях. За время нашего знакомства он не раз говорил мне о зарождении нового офицерского класса, которое представлялось ему зловещим явлением в жизни страны. Он признавался, что его одновременно завораживают и смешат эти люди — их манеры, их непонятный непосвященным язык и более всего их сумасшедшее честолюбие (впрочем, тут он ничего забавного не видел) — и что среди них он чувствует себя шпионом на вражеской территории, собирающим сведения о зарождении пока еще смутно представляемого конца света. Так или иначе, когда Лэйси предложил мне отправиться с ним на вечеринку в честь новоиспеченного майора, я не раздумывая согласился, охваченный тем же духом исследования.

— Пока твоя книга читается отлично, — сказал мне Лэйси, когда мы ехали в офицерский клуб в его машине — низком черном «ситроене», который он привез из Франции. Это была знаменитая в 1930-х модель, снятая теперь с производства, с вызывающе длинным капотом и выпуклыми крыльями — до сих пор никто в послевоенной Америке не видел ничего подобного; здесь, среди «фордов» и «олдсмобилей», ее элегантный галльский стиль вызывал множество подозрительных взглядов.

— Книга производит сильное впечатление, — продолжал он. — Когда придет следующая порция?

Мне присылали по частям гранки моего романа, и Лэйси попросил их почитать. Если исключить Лорел, еще одного-двух нью-йоркских друзей и нескольких человек из издательства, Лэйси был первым читателем моего дебютного романа. Я довольно быстро уяснил, что в вопросах литературы Лэйси наделен изрядной проницательностью, безупречным вкусом и вдобавок подкупающей честностью. Мне было очень важно его мнение о моей работе, и похвала меня ужасно растрогала. Я промямлил слова благодарности.

— Кстати, кое-кто хочет посмотреть гранки, если ты не против. Можно я ему покажу? — спросил Лэйси.

— А кто он? — поинтересовался я.

— Мой новый батальонный командир, я тебе о нем говорил. Он пришел вместо Бена Хадсона. У нас он недавно, но я его и раньше знал.

— Смеешься? — спросил я, глядя на него. — Батальонный командир? Будет читать «южную готику»? Да ты с ума сошел.

— Никак нет, сэр, — ответил Лэйси с ухмылкой. — Прочтет, не сомневайся.

Он замолчал, а потом добавил:

— Сам увидишь.

Мы немного опоздали, и вечеринка уже была в самом разгаре. Офицерский клуб — со сверкающим бассейном, навесом над входом, шикарным рестораном с огромным баром и общим ощущением культурного досуга — не понравился мне с самого начала. Мне куда больше по душе была плебейская практичность нашего бара в ОХО (там по крайней мере можно было без зазрения совести поносить корпус морской пехоты), чем эта вульгарная помесь деревенского клуба с роскошным отелем — жалкое подобие подлинной изысканности, существовавшей за пределами нашего маленького мирка, — где никто не мог и слова сказать против военной службы. Повсюду были пафосные фрески, посвященные победам морских пехотинцев прошлого: Триполи, Буа-де-Белло, Иводзима — столь же пугающие, как на станциях Московского метро... Они были созданы, чтобы дарить покой и радость, а вместо этого я корчился от ужаса, представляя, что в ближайшем будущем здесь

появится очередная фреска с подписью «Корея» и на ней среди павших мучеников буду изображен я сам. В клубе пахло джином, полировальной пастой, духами «Арпезж» и жареным мясом; в обстановке безвкусной роскоши — одновременно мужественной и в чем-то неуловимо женственной — я чувствовал себя не в своей тарелке.

— Ты только посмотри, — прошептал Лэйси, когда мы поднялись по парадной лестнице.

Навстречу шедшему перед нами майору из открытой двери выскользнула, смеясь, длинноногая блондинка с уповательно-упругой попкой; ее золотистые волосы развевались потоком кондиционированного ветра. Ее угловатый хмурый спутник, явно кадровый военный, был до самой шеи увешан наградными лентами и выглядел настоящим мерзавцем. Они скрылись внутри.

— Вот это да, — прокомментировал Лэйси.

Мое сердце просто выпрыгивало из груди от зависти, злобы и вожделения.

— Я бы сейчас... — начал было я, начинающий писатель, двадцати шести лет от роду, в полном расцвете сил и сексуальности, обреченный в этой проклятой дыре на унижительное воздержание.

— Тише, тише, — вмешался Лэйси. — Трогать руками категорически запрещается!

Я знал, что он прав. Поскольку жилья не хватало, почти все женатые резервисты вынуждены были оставить жен дома, а холостя-

ки вроде меня облизывались на тех немногих женщин-военнослужащих, что были на базе, или устраивали безуспешные набеги на флотскую больницу в надежде поживиться у тамошних медсестер, по большей части либо очень толстых, либо совсем костлявых. Женщины были только у кадровых военных. Возможно, я ошибался, но мне все они казались южанками — блестящие фарфоровые статуэтки с розовыми щеками и пустыми глазами, словно вылепленные по одной форме. Сам южанин, я привык им не доверять. Лет тридцати с небольшим, сексуальные на чуть кокетливый южный манер, они постоянно вели дурацкие разговоры об отпусках, переводах и повышениях, или о музыке Лоуренса Велка, или о сравнительных достоинствах магазинов для военнослужащих в Квонтико и Кемп-Пенделтоне. Большинство из них проводили теплые весенние дни в клубе у бассейна, потихоньку откусывая мороженое, читая «Ридерз дайджест» и «Летернек» и играя в канасту. Одна из таких офицерских жен — аромат гардени и высокая грудь под блузкой с глубоким вырезом — заговорила со мной, когда мы стояли с бокалами в руках под изображением кровопролитной битвы, где морские пехотинцы с кокардами на фуражках штурмовали мексиканский редут в Чапультепек*.

* Чапультепек — город в Мексике, где в 1847 г. произошло крупное сражение между американскими и мексиканскими войсками.

Она спросила про мой роман, о котором ей рассказал Лэйси: это беллетристика или документальная литература?

— Смешной вопрос, дорогая, — довольно резко вмешался ее муж, невысокий плотный капитан родом из Джорджии. — Роман — это всегда беллетристика. Просто по определению.

Его жена сильно покраснела и сказала:

— Я понимаю. Я просто хотела спросить, о чем это.

— Так значит, вы романист? — не унимался капитан. — Ну надо же, настоящий романист в наших джунглях. И кого только сейчас у нас нет. В восьмой дивизии был парикмахер. То есть настоящий парикмахер, который умеет делать женские прически.

У меня сжалось сердце. Его голос звучал вполне дружелюбно, и в нем не было ни намека на сарказм. Говоря «романист», он наверняка не имел в виду ничего дурного. Но два наших мира разделяла дистанция планетарного масштаба, и я хотел одного: чтобы капитан как можно скорее сменил тему и оставил в покое мою книгу, о которой сейчас спрашивал.

— Так это психологический роман или исторический?

— Это про групповой секс, — пришел на помощь Лэйси.

В 1951 году, да еще с незнакомыми людьми и в смешанной компании, такая фраза зву-

чала весьма вызывающе. Капитан сдвинул брови, его жена снова вспыхнула, и на минуту показалось, что добродетельный дух Южной Баптистской конвенции осуждающе взглянул на нас с небес. Молчание нарушил мелодичный голос, обратившийся к Лэйси на безупречном французском.

— *Bonsoir, bonsoir, mon vieux. Comment ça va? Où étiez-vous? Je vous ai cherché partout. Etes-vous à depuis longtemps?**

— *Bonsoir, mon colonel,* — ответил Лэйси. — *Ça va bien, et vous? Non, nous venons juste d'arriver**. Позвольте вам представить моего друга.

Затем он повернулся, и я был представлен Полу Мариотту, подполковнику корпуса морской пехоты США.

— Так вы и есть тот писатель, о котором говорил мне Лэйси? — спросил Мариотт приветливо.

Судя по произношению, он вырос в Виргинии.

— Забавно, что теперь у нас появился свой литератор. Это добавляет чуточку разнообразия; надеюсь, нам теперь будет о чем поговорить... Джентльмены, позвольте вам представить — мой сын Майк.

* Добрый вечер, добрый вечер, старина. Как дела? Где вы были? Я везде вас искал. Вы тут уже давно? (*фр.*).

** Добрый вечер, полковник. Дела хорошо, а у вас? Мы только что приехали (*фр.*).

Обычно мне кажется манерным, когда люди общаются по-французски без особой необходимости, но Лэйси и подполковник говорили так свободно — подполковник, на мой слух, практически безупречно — и одновременно с оттенком иронии, что это выглядело веселой игрой. Что касается полковника, я не мог отвести взгляд от его наград и нашивок: если награды достаточно высокие и присутствуют в изрядных количествах, их блеск не бросается в глаза и не затмевает лицо владельца. Впрочем, наибольшее впечатление производили не значительные награды («Военно-морской крест» и «Серебряная звезда» — каждый из этих орденов свидетельствовал о подвиге, требующем невероятного мужества, — и вдобавок орден «За боевые заслуги», а также медаль «Пурпурное сердце» со звездами, обозначающими ранения), а яркий коллаж из наградных лент за участие в различных кампаниях и экспедициях, указывавших, что их обладатель с юных лет был связан с морской пехотой. Я понимал, что передо мной абсолютный профессионал. Полковник Мариотт выглядел на сорок с небольшим, и это лишь усиливало несоответствие между его светскими, утонченными манерами и жизнью, целиком и полностью посвященной воинской службе. Интересно, как Пол Мариотт сумел среди боев и походов найти время, чтобы в совершенстве овладеть иностранным

языком и стать знатоком и ценителем прекрасного?

Я обменялся рукопожатиями с сыном полковника — юношей лет восемнадцати, очень похожим на отца. Если бы не очевидная разница в возрасте, он мог бы сойти за его брата-близнеца. Как и отец, Майк был среднего роста, атлетически сложен (хотя и не производил впечатления груды мышц), с такими же, как у отца, коротко стриженными соломенными волосами и глубоко посаженными внимательными глазами на четко очерченном лице. Несмотря на внешнее сходство, он не собирался идти по стопам отца. Пока Лэйси с полковником болтали, я спросил его, намерен ли он стать профессиональным военным. Не знаю, почему я задал такой вопрос, — возможно, тут сыграло роль необычайное сходство между отцом и сыном.

— Конечно же, нет, — ответил он негромко. — Я не хочу убивать.

От этих слов у меня волосы на голове зашевелились: я был потрясен его прямоотой, в которой не звучало ни злобы, ни раздражения. Майк казался расстроенным, немного встревоженным. Переведя разговор на другую тему, я узнал, что он учится на втором курсе университета Северной Каролины и по окончании получит диплом архитектора. Неожиданно по его губам скользнула улыбка:

— Уж лучше хот-догами торговать, чем служить в морской пехоте. Если меня призовут в армию, я пойду в авиацию.

У меня не было времени расспросить его о причинах подобных настроений, поскольку в эту минуту полковник предложил нам присесть за соседний столик. Ужин должны были подать позднее. Когда мы расселись, в дальней комнате раздались звуки танцевальной музыки, обдав нас приглушенным гулом кларнетов и тромбонов, мягко завладев всеми чувствами. Хмельное умиротворение окутало меня словно ласковая рука, убаюкало обманчивым покоем. На улице темнело, бассейны и склоны сосен за ним тонули в тени. Война ушла куда-то далеко, и впервые с приезда в лагерь алкоголь подействовал на меня успокаивающе, а не подхлестнул, как обычно, злость и раздражение. Вне всяких сомнений, легкая эйфория была связана с полковником Мариоттом: лишь оттого, что в корпусе морской пехоты нашелся офицер, способный вести просвещенные беседы, я готов был отбросить все предубеждения относительно воинской службы. По моим воспоминаниям, мы говорили о литературе (в двадцать шесть я обожал такие серьезные разговоры), и полковник поразил меня тем, что, в отличие от прочих кадровых офицеров (особенно в чине выше капитана), не пытался с умным видом рассуждать о вещах, о которых не имел ни малейшего представления. Однако еще до того

полковник совершенно очаровал меня, выразив сочувствие в связи с моей жизненной ситуацией, чего я от него никак не ожидал.

— Представляю, какой это был неприятный сюрприз! — сказал он. — И прямо перед тем, как должна была выйти ваша книга. Но теперь-то, я думаю, вы уже оправились. Сильно все изменилось по сравнению с сорок пятым?

— Да нет, все по-прежнему, — ответил я. — Ну, может, что-то чуть-чуть получше стало: кормежка, например.

В значительной степени так оно и было. Хотя и не шедевр кулинарного искусства, эта еда была куда съедобнее отвратительной бурды, которой нас кормили в прошлую войну.

— Недавно в ОХО подали на ужин просто первоклассный ростбиф.

Полковник улыбнулся. Его манера общения была столь дружеской, что я почти сразу перестал, обращаясь к нему, добавлять «сэр». Я также последовал примеру Лэйси, который, как я слышал, звал его Пол.

— Да, — сказал он, — старый корпус меняется на глазах. Много лет еда в морской пехоте была гораздо хуже, чем на флоте. Я всегда говорил: непонятно, почему при таком богатом выборе продуктов солдат и офицеров кормят такой едой, что ее и съедобной-то можно назвать с большой натяжкой. Наши столовые вполне способны готовить нормальную пищу. По-видимому, с год назад до

кого-то дошло, и кормить стали гораздо лучше. Да, скажите, — перебил он себя, очевидно, желая сменить тему, — как насчет вашей книги? Лэйси от нее просто в восторге. Он говорит, что, когда она выйдет, это будет сенсация.

Мариотт спросил меня о сроках публикации, и в этой связи завязалось оживленное обсуждение книг в целом. Всплыл вопрос о влиянии писателей друг на друга, и, когда я, немного смутившись, признался, что критики могут найти в моем романе перекличку с другими авторами, в особенности с Фолкнером и Фицджеральдом, он удивленно посмотрел на меня и сказал:

— Да ну, стоит ли об этом волноваться. Нельзя же написать стопроцентно оригинальную книгу. Каждый писатель находится под чьим-то влиянием. Где был бы Фолкнер без Джойса? Или взять хотя бы «Отсюда и в вечность». Вы читали?

Конечно, читал, все читали. В то время это был громкий бестселлер.

— Потрясающая книга. Он, конечно, последний мерзавец, когда пишет об офицерах, но в общих чертах все правда. И влияния там видны повсюду: Хемингуэй, Драйзер, Вулф и много еще других, — только это не так важно. Книга в целом — это нечто большее, чем просто сумма влияний.

В какой-то момент зашел разговор о Флобере, и, когда я выразил восхищение его матерью, полковник заметил:

— Ну, если вам так нравится Флобер, вы просто обязаны прочитать Штегмюллера, если, конечно, до сих пор его не читали.

— Нет, признаться, даже не слышал о таком, — ответил я.

— Почитайте «Флобер и “Госпожа Бовари»», рекомендую, действительно сильная книга. Могу одолжить свою, если вам негде взять. Да, кстати, вы читаете по-французски?

— Относительно сносно, — сказала я. — Для газет и журналов моего французского вполне хватает, но не для «Госпожи Бовари».

— Очень жаль, поскольку роман написан самым, скажем так, кристально прозрачным языком, какой только можно себе представить. А вы, я полагаю, читали в переводе Эвелинг?

— Совершенно верно.

— Он, в общем, не так плох — сгодится, пока кто-нибудь не переведет лучше. Необыкновенная женщина. А вы знаете, что она была дочерью Карла Маркса?

— Нет, не знал, — ответил я удивленно. — Как интересно! Мне бы и в голову не пришло.

— Да, и кроме того: она была человеком психически неуравновешенным, и под конец жизни совершенно подвинулась на истории мадам Бовари, которую перевела на английский. В результате она покончила с собой в точности как Эмма Бовари — приняла яд. Это один из самых удивительных эпизодов в истории литературы.

В то время я был очень увлечен Флобером и перечитывал роман так часто, что многие абзацы помнил наизусть. Я прочел о нем все, что сумел раздобыть (почему я не знал о книге Штегмюллера, для меня до сих пор загадка): мастерство Флобера, его фанатичная преданность своему делу, его ирония и глубокое понимание тончайших языковых нюансов — все это вызывало у меня страстное восхищение. Лишь очень немногие из писателей могли разделить с Флобером место в моем писательском пантеоне. Я помню, какое волнение охватило меня, когда Пол (тогда он еще не был для меня «Полом», но вскоре я стал звать его по имени) заговорил о мастере, касаясь не только его творчества (хотя знал об этом даже больше меня), но и личной жизни. Пол, как и я, был большим поклонником Флобера и к тому же прекрасно разбирался во французской литературе в целом; его замечания относительно Мопассана, Золя, Тургенева, Доде и других современников Флобера говорили о глубоком знании предмета. С особым удовольствием мы с ним обсудили отношения Флобера с любовницей — Луизой Коле, подробно остановившись на случавшихся с ней приступах ревности и раздражения. Далее я заметил, что, вероятнее всего, первопричиной его мизогинии была мать. Пол отметил мою проникательность — возможно, не очень редкую — заметив:

— Вы, несомненно, правы. Это образцовый пример для учебника психоанализа. Однако нельзя отрицать, что Луиза была настоящей стервой.

К столику подошла хорошенькая рыжеволосая девушка лет семнадцати-восемнадцати, и сын Пола поднялся поприветствовать ее. Все остальные тоже встали, и после представления и обычных любезностей молодые люди пожелали нам спокойной ночи и под ручку удалились. Я внезапно задумался, как быстро летит время: на улице уже стемнело, и бесчисленные лягушки орали в болоте как сумасшедшие, перекрикивая блеющий саксофон. Заминка вернула меня с небес на землю; когда я сел на место, чудесное настроение как бы удвоилось, и Пол Мариотт как по мановению волшебной палочки превратился из прекрасного принца в чудовище: он вновь стал подполковником морской пехоты, и полный арсенал звезд и нашивок, чудесным образом исчезнувший из моего поля зрения во время нашего диалога, все так же назойливо сиял на его широкой груди. Лэйси перегнулся через стол, чтобы спросить Пола о предстоящих полевых учениях. В этот момент у меня зародилось смутное недоумение: почти час я вел увлекательную, почти что научную беседу об изящной словесности не с литературным критиком, не с интеллектуалом — обитателем научных высей, и даже не с проницательным дилетантом из тех, кого можно встретить во вре-

мя долгого путешествия через океан, а с человеком, который провел всю жизнь в кровавой вселенной современной войны и тем не менее нашел в душе ноты, созвучные туманной, окутанной ароматом сирени провинциальной Франции девятнадцатого века. Это плохо укладывалось в голове, но я подумал, что, возможно, поторопился с оценкой корпуса морской пехоты.

Жара в то лето стояла чудовищная, это было что-то невообразимое, превосходившее все мыслимые пределы. Поскольку наш лагерь располагался на краю обширного болота, мы страдали от повышенной влажности ничуть не меньше, чем от палящего солнца: в иные дни окружающий мир представлялся парилкой, из которой нельзя было выйти. Форма в одно мгновение становилась мокрой. Мы маршировали под палящим солнцем, брели по лесу и устанавливали минометные гнезда в душных оврагах; случалось, что бойцов уносили с тепловым ударом, обезвоженных, в состоянии, близком к коме. Впрочем, на улице жара переносилась все-таки легче: тень дерсвьев предлагала слабенькую, но защиту, внезапное дуновение ветра освежало своим дыханием, к услугам купальщиков повсюду струились приливные течения. А вот на базе, в душном кирпичном бараке батальонной штаб-квартиры, жара становилась невыносимой, не поддающейся описанию; мне не

с чем было ее сравнить — я никогда в жизни не испытывал ничего подобного, разве только читал легенду о захолустном мексиканском городке Вильяэрмоса в мексиканской провинции Табаско, где даже священники сходили от жары с ума и умирали, проклиная безжалостное божество, сотворившее этот земной ад. Мне периодически приходилось подолгу там сидеть, занимаясь бумажной работой. Скрючившись за письменным столом, я с отвращением разбирал документы и накачивался кока-колой, в четвертый или пятый раз глотая очередное письмо от Лорел, лежавшей, раскинувшись в тоске желания, на безмятежном побережье Файр-Айленда.

Однажды в конце июня, просидев все утро в штаб-квартире, я с трудом добрался до ОХО. Мне пришлось встать с рассветом, и я рассчитывал подремать часок перед обедом, а потом уже присоединиться к взводу на полигоне. Поднимаясь по лестнице на свой этаж, я уловил звуки разбитной мелодии, доносившейся из радиоприемника или патефона, — хриплые женские причитания под аккомпанемент деревенских скрипок и электрического вибрато. Этот балаган никак не укладывался ни в какие представления об офицерском общежитии, пусть даже почти пустом.

Честно говоря, я совершенно искренне горжусь, что был поклонником стиля кантри еще в те времена, когда музыкальные критики не уделяли ему должного внимания. На-

верное, только настоящий южанин может по-настоящему оценить этот безыскусный, необузданный жанр. С ранней юности мне слышалась в его мелодиях унылая прелесть и трогательное простодушие; душераздирающие баллады были подлинным эхом той скудной почвы, которая их породила. Даже сейчас, когда я слышу голоса Эрнста Табба, Роя Акуффа, семьи Картер или Китти Уэллс, окружающая действительность перестает существовать, и перед глазами встают сладостно-горькие видения сосновых лесов и красной земли, провинциальных магазинчиков и неторопливых приливных рек — печальный облик странного мира между Потомаком и Рио-Гранде. Но у любого искусства есть подражатели, ухудшенные и опошленные версии оригинала — на каждого Бетховена приходится по десять Карлов Гольдмарков, на каждого «Мессию» по две дюжины «Снов Геронтия», — и стиль кантри не исключение. В своих худших проявлениях это чудовищное сочетание вымученных мелодий и вульгарных виршей, исполняемое под вязкий аккомпанемент скрипок, виброфонов, электрических органов и прочих инструментов, о которых никогда прежде не слышали в «Грейт-Смоки-Маунтинс» и на берегах Апалачиколы.

Поднявшись, я, к своему изумлению, обнаружил, что музыка доносится из моей комнаты.

Динг-Донг, Динг-Донг, что ты сделал со мной...

Я совсем избаловался: прожив больше месяца в комнате, рассчитанной на двоих, я совсем забыл, что ко мне могут подселить соседа. Он, очевидно, только что въехал, и явно чувствовал себя как дома, поскольку уже успел вписать себя в карточку на двери. И теперь под моей фамилией аккуратными печатными буквами значилось:

Второй лейтенант, Дарлинг* П. Джитер мл.,
Корпус морской пехоты США.

Я какое-то время в удивлении таращился на карточку, пораженный самим именем — я несколько раз попробовал его на язык, — а также отсутствием в конце буквы Р, означавшей «резерв». Я совсем упал духом, когда осознал, что мне, похоже, достался кадровый офицер. Я открыл дверь, музыка грянула:

Динг-Донг, Динг-Донг, что ты сделал со мной...
Я пою, я танцую, верни мне покой...

За столом сидел совершенно голый, если не считать зеленых сатиновых подштанников, необычайно мускулистый молодой человек лет двадцати — двадцати трех, в очках с тонкой оправой. Лицо и плечи его были испещрены шрамами от прыщей, соломенного

* Дарлинг (англ. Darling) — дорогой, любимый.

цвета волосы подстрижены очень коротко, почти налысо, и — в основном из-за мокрой, подростковой нижней губы и очень низкого лба — выражение лица казалось абсолютно бессмысленным. Возможно, кому-то это описание покажется предвзятым, но за время нашего знакомства мой сосед по комнате не сделал ничего, что могло бы загладить это первое впечатление невероятной дикости.

— Привет, — сказал он, поднявшись.

Новый сосед выключил патефон и вышел из-за стола, протягивая мне руку. Я обратил внимание, что он задвинул куда-то в сторону гранки моей рукописи, а также мой словарь и часть книг из тех, что я привез с собой, — помню только «Антологию современной американской поэзии» Оскара Уильямса и карманный томик Данте издательства «Викинг». Теперь они делили место с грудой грампластинок (полагаю, в том же духе, что и «Дин-Донг»), тремя длинными незачехленными ножами вороненой стали, пачкой «мужских» журналов («Тру», «Аргоси» и им подобными), коробкой шоколадных батончиков «Бэйби-Рут» и случайным набором туалетных принадлежностей, включавшим, как я случайно заметил, большую упаковку презервативов.

Он крепко пожал мою руку и произнес радушно:

— Дарлинг Джитер. Друзья обычно зовут меня Ди.

К моему облегчению, он сам предложил выход, иначе мне пришлось бы по возможности вежливо объяснить: «Прошу прощения, но я не могу звать вас Дарлинг».

Хотя фамилия Дарлинг достойна всяческого уважения (ведь не просто ради шутки Джеймс Барри назвал так одно почтенное семейство в «Питере Пене»?), а на Юге принято давать детям фамилию в качестве имени (как выяснилось впоследствии, мой сосед был родом из Флоренса, Южная Каролина), я, как человек чувствительный, не хотел усугублять столь нежеланную для меня близость фразами вроде: «Дарлинг, ты не передашь мне мыло?»

Нет, Боже избави... Даже думать не хотелось обо всех возможных ситуациях.

В ответ я тоже представился. Мне очень хотелось хоть немного вздремнуть, однако я счел, что мы двое — офицеры, джентльмены, южане — просто обязаны сесть и познакомиться, как положено, учитывая, что нам предстоит довольно долго жить бок о бок в условиях, отнюдь не способствующих гармоничным взаимоотношениям. Ди, как выяснилось, был инструктором по рукопашному бою, специалистом по близким контактам с использованием холодного оружия. Счастьем провести несколько недель без его общества я был обязан тому факту, что он проходил переподготовку в Калифорнии, на базе Кэмп-Пендлтон, где обучался различным трюкам.

Теперь Ди вернулся в Кэмп-Леджен и с нетерпением ожидал отпуска, который, как он надеялся, будет недолгим.

— Я поеду в любое место, куда меня пошлет корпус. Тут не о чем говорить, это мой долг. Но, если честно, мне очень хочется попасть в Корею, чтобы мочить там узкоглазых.

— А давно ты в корпусе? — спросил я.

— Девять месяцев и восемь дней, — ответил он. — Я учился в военном колледже в Клемсоне, потом мне дали звание и отправили в Квонтико. Только из-за зрения я не мог с десяти шагов попасть из винтовки по мишени.

Он указал на свои очки. Из-за их стекол Ди смотрел на меня каким-то тупым и рассеянным взглядом, как у кролика; в этом взгляде читался не горячий темперамент бойца, а густая пелена замедленного развития. Так мог смотреть пятнадцатилетний подросток из Южной Каролины, где люди не торопятся взрослеть.

— Меня освободили по зрению, и я сам попросился на рукопашный бой. Вот это по мне! Мне иногда кажется, что на свете нет ничего красивее ножа. Всаживаешь его и проворачиваешь, всаживаешь и проворачиваешь! Блеск! Хочешь штучку?

Я не слышал слова «штучка» — так на военно-морском жаргоне называют шоколадный батончик — с тех пор, как служил в морской пехоте во время Второй мировой. Ди уже потянулся к коробке с «Бэйби-Рут», но я отка-

зался, сославшись на жару и расстройство желудка. Большинство резервистов подчеркнуто избегали морского жаргона, а Ди, как я вскоре обнаружил, напротив, старался при всяком удобном случае вернуть просоленное словцо: пол он называл палубой, стены переборками, и это, естественно, не способствовало дальнейшему развитию наших отношений.

— Я вообще-то больше люблю «Алмонд-Джой», — продолжил он, — но в нашем магазине их не было. Пришлось взять «Бэйби-Рут».

— Скажи, — совершенно искренне заинтересовался я, — а тебе приходилось убивать кого-нибудь этими ножами?

Вопрос его ни капли не смутил.

— Нет, — ответил он. — В Пендлтоне мы тренировались на манекенах — ну и друг на друге — с резиновыми клинками. Нет, честно говоря, я пока еще никого не убил.

Я не удержался и спросил:

— Слушай, а тебе не кажется, что если ты убьешь человека ножом, то тебя просто стошнит. Ну, он упадет, у него кишки вывалятся, кровь будет хлестать, и все такое... Я понимаю: если нет другого выхода, приходится драться врукопашную, но почему ты так уверен, что тебе это понравится?

Он положил в рот последний кусок шоколадного батончика и принялся задумчиво жевать; по комнате разнесся сладкий кондитерский аромат, и на какой-то момент, чувствуя

подступающий к горлу ком, я едва не потерял сознание от запаха шоколада, арахиса, ванилина, лецитина, гидрогенизированного растительного масла и эмульгаторов. Скатившаяся капля пота оставила дорожку на безволосом животе Ди, который казался твердым, как сыромятная кожа. Спать хотелось невероятно, я чувствовал, что глаза слипаются, и сквозь дрему до меня доносится неистовый стрекот цикад, пиликающих под окнами в медленно спадавшем зное.

— Ну, может, и вырвет, как ты говоришь, — ответил он. — Мне вообще-то вид крови не особо нравится. Но это совсем другое дело. Мы имеем дело с самым страшным противником, которого только знала наша страна. Нам в Пендлтоне показывали кино — «Красное зло» называется или как-то в этом роде. Ты не смотрел? Про этих мерзавцев, коммунистов, которые хотят захватить весь мир. Сукины дети. Один с такой огромной бородой... Как же его звали? Маркс. И еще один русский сукин сын, имя вылетело из головы, с малюсенькой козлиной бородкой на манер собачьей какашки... Вот дали бы мне нож, я бы в обоих коммунистических ублюдков всадил и повернул и еще раз всадил и повернул. Вот тут-то и понимаешь, как может нравиться холодное оружие.

— Они оба уже давно умерли, — заметил я.

— Ну, если умерли, — сказал он спокойно, — тогда я убил бы другого коммунисти-

ческого ублюдка, желательно узкоглазого. Ты ведь знаешь, что такое хороший коммунист?

— Да, — ответил я, — это мертвый коммунист. Послушай, Ди, я сегодня встал в четыре утра и устал зверски. Ты не мог бы не включать музыку, пока я немного подремлю?

— Конечно, — согласился он, — располагайся. Я буду тихо, подожду пока музыку включать. Подежурь по койке, а старина Ди тут немного приберется.

Уже засыпая, я услышал его голос:

— А как тут насчет потрахаться?

— Только медсестры из военного госпиталя, — пробормотал я. — Если тебе нравятся толстухи или, наоборот, маленькие и костлявые. Других нет.

— Вот говно! — донеслось до меня сквозь туманную дрему. — Я люблю потрахаться. Прямо как мой папка. Если бы можно было найти манду побольше, я бы там жил... Устроил бы лагерь с палатками, полевой кухней, флагштоком и плацем.

Как вскоре выяснилось, Ди связывали с отцом не только воспоминания. Когда на следующее утро я вернулся в ОХО после ночи, проведенной на полигоне, Ди сидел со своим отцом за столом, уплетая батончики «Алмонд-Джой». На вид старшему Джитеру было под шестьдесят, он выглядел изможденным, с бледным печальным лицом, изрезанным глубокими морщинами. С первого

взгляда становилось понятно, что он очень серьезно болен. На нем была спортивная рубашка из искусственного шелка, сквозь которую слабо торчали седые волосы, и просторные брюки неопределенного зеленоватого цвета, мятые и довольно грязные. От старика таинственно пахло чем-то горьким и металлическим, и время от времени его охватывали мучительные приступы кашля; не припомню никого, кто бы при столь коротком знакомстве внушал мне такую тревогу за свое здоровье. Ди он называл Младшим. Бывший комендор — военно-морской термин для уоррент-офицера — он прослужил в корпусе тридцать пять лет и только что приехал из Флоренса, чтобы повидаться с сыном — новоиспеченным офицером. Старший Джитер был вдовцом.

— А чем ты занимался на гражданке, сынок? — поинтересовался отставной комендор. Как и сын, отец говорил с ярко выраженным южным акцентом. Он не переставая курил.

— Беллетристикой.

— Эквилибристикой? Так ты циркач? — дружелюбно поинтересовался он.

— Не эквилибристикой, а беллетристической, — резко сказал я. — Я писатель. Пишу книги. Прозу. Французы называют это романами.

Я даже не пытался скрыть злую насмешку. Глаза мне застилала пелена ярости, распалая-

емая отчасти доброжелательной глупостью комендора, отчасти ощущением тесноты в нашей маленькой комнате, где места едва хватало для двоих, а с появлением третьего и вовсе стало нечем дышать; последние слухи о нашей скорой отправке в Корею только усиливали мое отчаяние; к тому же с приближением осени я все чаще испытывал чувство разочарования и обреченности, а лежавшее в кармане письмо от моего нью-йоркского редактора, полученное с той же почтой, что и непристойное послание Лорел, не могло развеять тоску: у меня было предчувствие, что рецензия окажется отрицательной.

Комендор снова закашлялся, и Ди пояснил за него:

— Папка — старый морпех, где только не был. На Западном фронте в 1918-м, на Гаити, в Никарагуа, Гуантанамо — всюду, где мы воевали. Правда, командир? У него были француженки, испанки, даже негритянки на Гаити. Когда папка сходил на берег, тут же шел слух: «Жеребец Джитер из морской пехоты». Правильно я говорю, командир?

— Да, Младший, — ответил тот, вытирая глаза. Было слышно, как в горле у него булькает слизь. — Честно скажу, в свое время я был не хуже других.

— Пап, а расскажи о том борделе... Где же это было? На Кубе? Там еще кино показывали на потолке и ополаскивали член кокосовым маслом? Расскажи, а?

Честно говоря, такие простодушные сексуальные откровения между детьми и родителями были мне в диковинку, и почти полчаса я, изнывая от неловкости, слушал, как комендор, несмотря на приступы кашля и явное недомогание, с энтузиазмом расписывает публичные дома Гаваны, Порт-о-Пренса и Буэнос-Айреса. Однако в конце концов силы его оставили: он с трудом дышал, и лицо его стало пепельно-серым; тогда Ди поднялся и вывел его из комнаты, сказав, что отцу явно нужно пропустить глоточек «Доктора Пеппера» для бодрости.

Еще какое-то время после их ухода я лежал на кровати, изнемогая от жары и собираясь с духом, чтобы прочесть рецензию. Поскольку за последующие годы своей писательской карьеры я получил не меньше ругательных отзывов, чем любой другой из моих коллег, а в каком-то смысле даже и больше, и в конце концов обзавелся непробиваемой шкурой, то теперь могу только изумляться тому трепету, с каким приступил к чтению первой настоящей рецензии. Вообще-то это была не совсем рецензия в строгом смысле слова — просто предваряющий публикацию анонс в одном из журналов. Но для меня он служил пропуском в профессию. Я прочел его со все возрастающим мучительным ощущением краха. Полагая, замечание редактора: «Не придавайте этому особого значения» — должно было послужить мне предупреждением.

После первых восторженных отзывов ни у кого не осталось сомнений, что этот впечатляющий роман молодого виргинца будет прочитан самой широкой публикой и не оставлен без внимания критиками, хотя талант автора — которым ни в коем случае не стоит пренебрегать — вряд ли соответствует неумеренным авансам. Действие разворачивается — временами убийственно медленно — в небольшом городке в Виргинии. В центре повествования — беды и горести семьи, состоящей из невротичной матери, отца-алкоголика и двух дочерей, одна из которых калека, вторая — наркоманка. Похоже на мыльную оперу? Возможно, однако подобное впечатление обманчиво, поскольку двадцатилетний автор в совершенстве владеет искусством слова и обладает незаурядным даром воображения, способным преобразовать колдовскую смесь из чувства вины, ревности и эдиповых страстей в увлекательное чтение, не ограничивающееся избитым сюжетом. Но вряд ли это новое имя в нашей литературе можно считать полностью оригинальным явлением, как нам пытаются его представить. В романе довольно отчетливо прослеживается влияние Фолкнера, Уоррена, Маккалер, а также Капоте, Спида Лэмкина и многих других представителей южной школы — певцов отчаяния и разложения. Тем не менее несмотря на банальный сюжет и перегруженный красотами язык, роман свидетельствует о появлении нового интересного автора и придется по вкусу тем

читателям, которые жаждут не легкого чтения, а серьезной пищи для ума. (10 сентября, первый тираж 10 000 экз.)

Л.К.

Я был убит. Просто раздавлен. «В совершенстве владеет искусством слова!» «Новый интересный автор!» «Прослеживается влияние Спиды Лэмкина!» Вашу мать! Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что, несмотря на известную долю высокомерия, статья вовсе не была убийственным разносом, как мне представлялось в то ужасное утро. Даже сейчас, спустя много лет, я в мельчайших подробностях помню горечь обиды и унижения, а также свои попытки успокоиться и хоть как-то умерить боль.

Хм. Л.К. Кто он, черт возьми, такой, этот Л.К.? Лидия Керр — заумная девица двадцати трех лет, закончившая Вассар-колледж по специальности «английская литература» и делающая вид, что обожает средневековую поэзию, как будто это дает ей право презрительно отзываться обо всех американских писателях после Мелвилла; сушеная маленькая лесбиянка с прыщавой кожей, чей дом в Гринич-Виллидж забит журналами «Партизан ревью»*, детективами Агаты Кристи и аннотированным изданиями «Виде-

* «Партизан ревью» — американский литературно-политический ежеквартальный журнал левой ориентации.

ния о Петре-пахаре»*. Но как могла выпускница Вассар-колледжа написать «в совершенстве владеет искусством слова»? Хотя кто ее знает. Или ненавистник южан Лео Колодни — писатель-неудачник, переквалифицировавшийся в обозревателя, воспитанник Сити-колледжа университета Нью-Йорка, с большим сердцем, геморроем и печальными талмудическими глазами, вероятно, ведущий семинары по современной литературе в убогой вечерней школе где-нибудь на окраине и пичкающий учеников мудрыми мыслями по поводу Беллоу, Маламуда и еврейского возрождения. Лео Колодни точно написал бы про «искусство слова». Так или иначе, я чувствовал, что моя писательская карьера закончена. Совершенно несчастный, в тот вечер я вместе с Лэйси отправился в Джексонвилль — маленький задрипанный городок, прилегавший к базе, — и постарался утопить тоску в местном пиве под названием «Лайон», вареве столь гнусном, что дрожжи плавали в нем словно крошечные хлопья снега.

То, что произошло в следующие сорок восемь часов, было очень странно и в чем-то даже необъяснимо; многое и сейчас остается для меня загадкой. Когда я начинал писать этот рассказ, у меня был сильный соблазн не включать

* «Видение о Петре-пахаре» — поэма английского поэта Уильяма Лэнгленда (вторая половина XIV в.).

в него ничего, что связано с Ди Джитером и его отцом, поскольку они не имеют никакого отношения к Полу Мариотту и лишь отвлекали бы читателя. Но, подумав, я решил все-таки оставить этот эпизод, поскольку он говорит больше о Поле Мариотте, чем мне поначалу казалось, а также о странной и таинственной общности людей, именуемой Корпусом морской пехоты.

Вернувшись из Джексонвиля, я заснул пьяным сном, однако уже часа через два меня разбудил ужасный шум; сначала я даже не понял, в чем дело, и лишь потом, немного придя в себя, осознал, что рядом кашляют. Я сел на кровати; сквозь окно пробивался бледный рассвет. Этот надрывный лающий кашель нельзя было слышать без содрогания: сухой замогильный звук, беспомощный стон раздираемой плоти — в нем ясно сквозило дыхание смерти. Когда мои глаза привыкли к темноте, я увидел, что Ди не уступил койку отцу, как я предположил вначале, а просто они спали вдвоем на его кровати — узкой и неудобной даже для одного. Пока я сидел, слушая непрекращающийся кашель, в душе у меня сменяли друг друга самые разные чувства: досада, жалость, сочувствие и, наконец, злость. Мало того что эти люди, даже не спросив разрешения (в конце концов, по званию я был старше их обоих, хотя и не намного), зачем-то (инцест я исключил) улеглись на одной кровати в нашей и без того перенаселенной

комнате, так это вторжение еще и сопровождается невыносимым шумом, мешающим спать. И почему старик до сих пор не в больнице?

Кашель на какое-то время утих, и Ди спросил:

— Пап, ты как?

— Нормально, — ответил комендор. — Жаль, нету у меня микстуры от кашля или ментоловых пастилок. И еще лихорадка допекает. А сколько времени, сынок?

— Примерно половина шестого. Может, закуришь? Тебе сразу полегчает.

Даже в те дни, когда мы все пребывали в неведении относительно предупреждений министра и когда я сам был заядлым курильщиком, я понимал, что сигарета — плохое лекарство для комендора, и уже собирался высказаться по этому поводу, когда он, с трудом сидя на кровати, щелкнул зажигалкой и пламя осветило его мертвенно-белое лицо. Не в силах на это смотреть, я зарылся головой в подушку и спал урывками до пробудки; канонада кашля вторгалась в мои сны, как рокот далекого грома.

Когда я проснулся, они уже ушли. Позже, в тот же день, я рассказал Лэйси о событиях этой ночи. Он смеялся до слез, но добавил, что если мне не безразлично собственное здоровье, я должен выселить старика.

— Бедняга, — ответил я, — мне его жаль, но еще одну такую ночь я не вынесу. Мне просто необходимо выспаться.

— У тебя нет другого выхода, — настаивал Лэйси. — Ведь это не просто нарушение твоих прав: похоже, у него открытая форма туберкулеза. Подумай, сколько микробов попадает в воздух, когда он кашляет. Гони ты его, ради бога!

В ту ночь моя рота заплутала в лесу, и я добрался до ОХО во втором часу ночи, совершенно измочаленный. Меня ожидали все те же муки: неглубокий сон, адское пробуждение, долгие часы, в течение которых я лежал неподвижный, как мумия, слушая мучительный кашель и бессмысленный обмен репликами между отцом и сыном. Я опять задремал лишь под утро и спустя пару часов проснулся вялый, с больной головой, словно после огромной дозы барбитуратов. Моих соседей по комнате уже не было.

Через пару минут я столкнулся с Ди в душевой.

— Где твой отец? — резко спросил я.

— Пошел в кают-компанию завтракать, — ответил он, размазывая мыльную пену по ямкам от прыщей на подбородке. — Как жизнь, старина? Выглядишь отлично: хвост трубой, уши торчком!

— А ты, оказывается, совсем слепой, — ответил я раздраженно. — Я тут уже две ночи подряд не сплю. Послушай, Ди, что я тебе скажу. Твой отец серьезно болен. Лучше бы ты прямо сейчас отвез его в госпиталь. Это не просто кашель.

— Ерунда. Просто у отца бронхи застужены еще с той войны. Он постоянно кашляет, особенно если простынет, как неделю назад.

Запотевшие от горячей воды стекла очков и толстый слой пены на щеках делали его еще более нелепым и отвратительным. Он только что кончил править опасную бритву — страшноватое на вид блестящее лезвие, каких я не видел уже много лет, и из одежды на нем был один лишь суспензорий — надо понимать, необходимая часть его снаряжения.

— С отцом все в порядке, — настаивал Ди. — Можешь не беспокоиться о старом вояке.

— Я так не думаю, — сказал я, и сам услышал в своем голосе раздражение. — Но даже если с ним все в порядке, то его кашель начинает действовать мне на нервы. Из-за этого кашля я две ночи не спал. Все, с меня хватит. Я требую, чтобы сегодня же твоего отца в нашей комнате не было. Ты понял?

Минуту он молчал, глядя на себя в зеркало, а затем медленно повернулся ко мне и произнес фальшивым, обозначающим шутку голосом:

— Что за азиатские манеры, приятель? Придираешься к младшему по званию?

— Чтоб духу его здесь не было, — отрезал я, чувствуя, как вспухают вены, и стараюсь сдерживать ярость. — Понятно?

Я повернулся и вышел.

Возможно, Ди подчинился бы моему ультиматуму. Я никогда этого не узнаю. В тот день

перед обедом я зашел в комнату, чтобы переодеться в полевую форму. Едва открыв дверь, я почувствовал неприятное беспокойство и, войдя, увидел, что у комендора, одиноко сидящего за столом, началось кровотечение: кашля не было, вообще ни звука, он почти не двигался — просто сидел, немного наклонившись вперед, зажав рот руками, и смотрел на меня в немом ужасе. Кровь сочилась между пальцами ручейками кларета, безжалостные струйки стекали по рукам, которыми он неловко пытался повернуть их вспять. Похоже, кризис наступил всего несколько секунд назад. Охваченный паникой, я совершенно не знал, как быть: посоветовать ему встать или лечь, наложить давящую повязку (только куда?) или холодные компрессы (или, может, горячие). Как это обычно бывает при оказании первой помощи, я боялся, что сейчас не просто сделаю что-то неправильно, а выберу именно то, чего категорически не следует делать. Но все же я успел крикнуть капралу, дежурившему в холле, чтобы тот вызвал «Скорую» из полкового лазарета, и, схватив полотенце, впихнул его в руки комендора, решив, что у него лучше получится справиться с потоком, чем у меня. Он начал слабо стонать, глаза в бездонном страхе умоляюще смотрели на меня. Все, что я мог, — беспомощно стоять за его спиной, поглаживать чахлые плечи и бормотать пустые слова утешения, а кровь тем временем сочилась алыми ручейками по

исхудалым рукам с выцветшей татуировкой, на которой была изображена эмблема корпуса морской пехоты — глобус и якорь, наколотые бог знает сколько лет назад в борделе Сиэтла или Вальпараисо, когда эти плечи, молодые и твердые, как китовый ус, принадлежали Жеребцу Джитеру. Кровь собиралась в лужи на столе, заваленном коробками с шоколадными батончиками, пластинками Джинна Отри, журналами по туризму и блестящими ножами.

Я слышал, как он пробормотал:

— Младший, позовите Младшего.

Но я ничего не мог сделать.

«Скорая» приехала меньше чем через пять минут, проявив удивительную расторопность, которой иногда — правда, только изредка — отличаются военные. Я поехал с ним в госпиталь, и оставался там, пока не появился Ди, весь сжавшийся и бледный от страха. Но надежды не было. Старик впал в кому. На следующий день рано утром он умер, и вскрытие показало обширную карциному легких.

Я был потрясен и подавлен. Я даже сам не мог понять почему. Для меня это не было личной потерей. Мы с комендором общались преимущественно ночью, в не самых подходящих обстоятельствах, и наше знакомство получилось столь кратким, что, несмотря на приятное впечатление, которое он произвел при первой встрече, у меня не возникло даже легкой симпатии. Что касается Ди — жалкого

плода его чресл, — он был мне противен. Не знаю почему, но эта история никак не шла у меня из головы: я все силился понять, почему, зная, по всей видимости, о серьезности своей болезни, он так и не обратился к врачам, и сколько я ни уговаривал себя, что он бы все равно умер, мне никак не удавалось избавиться от чувства вины: я слишком долго медлил и не настаивал на отправке в госпиталь, где комендору могли хоть как-то помочь.

Вскоре после того как Ди уехал в Южную Каролину, чтобы похоронить отца (к моему большому облегчению, он навсегда убрался из нашей комнаты, предоставив мне полную свободу в одиночестве предаваться своим мыслям), я натолкнулся на Пола Мариотта в баре офицерского клуба, где он пригласил меня составить ему компанию. Я до сих пор недоумеваю по поводу своей тогдашней чувствительности, но из каких-то мазохистских побуждений я носил рецензию в бумажнике и время от времени перечитывал, каждый раз заново смакуя жалкие крохи снисходительной похвалы и терзаясь общим неодобрением. Мне до сих пор неловко при мысли, что я заставил Пола это прочесть. Тот, слегка улыбаясь, пробежал глазами заметку и вернул ее со словами:

- Не стоит придавать значения.
- Что за гадство! — простонал я. — И это только начало!

— Ерунда, — ответил он. — Автор рецензии либо очень молод, либо вам завидует. А может, и то и другое, да еще и посредственность в придачу. Выбросите из головы.

В его словах звучала такая убежденность, что я почувствовал огромное облегчение и, словно отмечая это событие, быстро выпил сразу три мартини подряд. Пол, как я уже заметил, всегда пил очень умеренно, и хотя в его доме гости не знали отказа в спиртном, сам он, похоже, сознательно воздерживался, выпивая до обеда два очень легких бурбона с водой, а после вина один-единственный бокал бренди. В каком-то смысле такой отказ от маленьких радостей жизни ему даже шел, гармонируя с исходившим от него ощущением здоровья и жизненной силы. Он был прекрасно сложен — в пятнадцать лет каждый мечтает именно о таком гибком, как у кошки, координированном теле — и поддерживал отличную физическую форму; излишек алкоголя довольно быстро огрубил бы его удивительно правильные черты. Все это время Пол тянул одну-единственную бутылку «Карлсберга». Вскоре к нам присоединились майор и капитан — оба кадровые военные. Пол представил меня им, и разговор зашел о бейсболе. Как ни странно для американца, но от разбора команд и игроков я обычно впадаю в такую жуткую тоску, что у меня всерьез начинает ломить затылок. До обсуждения статистики отдельных игроков они не опустились:

речь шла о Мики Мантеле, он в тот сезон был на высоте, и они сравнивали его с каким-то другим бэттером или питчером* из Чикаго или Бостона. Я утратил нить разговора, заметив только, что Пол говорил о спорте с энтузиазмом, что меня нисколько не удивило: со слов Лэйси я знал, что в Виргинском военном институте он участвовал в соревнованиях по троеборью. Но вскоре разговор перешел на более общие темы, и я вдруг обнаружил, что с мрачным видом рассказываю историю о старом комендоре, умиравшем у меня на глазах. Я не говорил о нем никому, кроме Лэйси, и теперь, описывая подробности странного происшествия, испытывал облегчение, почти катарсис.

— Наверное, я должен был воспользоваться тем, что старше его сына по званию, и настоять, чтобы старика отправили в госпиталь, — закончил я. — Но врач сказал, что у него уже не оставалось ни малейшего шанса.

— Перестань, — вмешался Пол, — ты ни в чем не виноват. Так как, ты говоришь, его фамилия?

— Джитер, — ответил я. — Кадровый уоррент-офицер в отставке.

У Пола отвисла челюсть, и на лице появилось выражение сильнейшего расстройств.

— Не может быть, — произнес он потрясенно. — Даже не верится. Комендор Джитер —

* Бэттер — игрок нападения с битой; питчер — игрок защищающейся команды, подающий мяч.

Жеребец Джитер его звали — мертв. Может, совпадение? У него лицо, как у грустной гончей, такие печальные глаза?

— Точно, — ответил я. — Это он.

Пол медленно и задумчиво покачал головой.

— Так значит, комендор отправился на небеса, — произнес он, и на губах его мелькнула озорная ухмылка. — Надеюсь, на небесах его ждет целая армия шлюх. Во всем корпусе никто не мог сравниться с ним по этой части.

— А я слышал о нем? — спросил один из офицеров. — Это он получил медаль Почета* во время Первой мировой?

— Нет, — ответил Пол, — эту было уже в двадцатых, когда он сражался против коммунистических повстанцев в Никарагуа. Хотя ты прав, он был в Шато-Тьерри** с Пятой дивизией морской пехоты. Подумать только, комендора Джитера не стало! Да, с ним закончилась целая эпоха!

Он вздохнул и провел рукой по коротко стриженным соломенным волосам. На лице появилось странное задумчивое выражение. Мне показалось, Пол сильно взволнован; это

* Медаль почета — высшая военная награда США.

** Шато-Тьерри — город во Франции, где 18 июля 1914 г., в ходе так называемого Марнского сражения, американские войска приняли участие в контратаке, переломившей ход войны в пользу Антанты.

была не совсем скорбь, но что-то очень похожее, и в его глазах я разглядел туманную пелену, предвещающую слезы. Однако он слабо хмыкнул и сказал:

— Джитер был одним из самых колоритных персонажей в корпусе. Пьянчуга, скандалист, бабник — и при этом храбрый как Ахиллес. Он, конечно, отсидел свое на гауптвахте, но никто не умел так управляться с пулеметом, как он. Эх, не знал, что он умер!

И снова в голосе слышалась искреннее огорчение.

— Жалко, что так получилось. Я бы пошел на похороны.

— Насколько я понимаю, похороны были вчера, — вставил я, — в Южной Каролине.

— Ты был знаком с комендором, Пол? — спросил один из офицеров.

Капитан и майор были хоть и не намного старше меня, но сильно моложе Пола, и то, как внимательно и заинтересованно они задавали вопросы о комендоре, чем-то напоминало дикие племена: так молодые воины, апачи или сиу, расспрашивают мудрого вождя о героях прошлого, сражавшихся с белыми во времена, когда еще не существовало резерваций, на равнинах паслись огромные стада бизонов и барабаны звали на тропу войны. Старый корпус.

— Да, это был человек старой закалки, — задумчиво продолжал Пол. — Теперь таких не делают. Да, я его знал. Когда первый год слу-

жил лейтенантом на корабле, на Мэриленде, Жеребец Джитер был там сержантом отряда морской пехоты. Не помню точно, в каком году это было: в тридцать втором или в тридцать третьем. Он научил меня всему, что я знаю о корабельной службе. И потом, когда незадолго до войны я оказался в Шанхае, комендор к тому времени уже стал уоррент-офицером: я бы и за много лет в Квонтико не узнал про пехотную тактику столько, сколько от него. В последнюю войну он уже не воевал: возраст не тот, да и здоровье не позволяло. Сказались все его пьянки. По-моему, у него в конце концов развился диабет и ему пришлось выйти в отставку. Он никогда не ходил к врачам, даже в Шанхае, когда у него ужасно болела печенка. Поэтому меня совсем не удивило, что он не лег в больницу, хотя от кашля выворачивался наизнанку. Сукин сын! Какая бестолковая, жалкая смерть. Знай я, что он здесь, хоть бы попрощался с ним.

Пока Пол говорил (соответствие, конечно, можно счесть банальным), вечерний воздух огласили звуки горна, и я посмотрел в окно, где спускали флаг и горнист играл отбой. Группки морпехов застыли в минутном внимании, их фигуры в косых лучах заходящего солнца отбрасывали длинные тени. На какое-то мгновение — как почти всегда при пронзительных трубных звуках — меня охватила тоска, перед глазами мелькнули видения тропических морей, бушующих волн и даль-

них берегов, из самых глубин сознания всплыл глухой топот сапог, словно легионы солдат спешили навстречу судьбе. Потом звук горна стих, и сквозь грохот бара, где громкий смех офицерских жен и несущиеся из музыкального аппарата звуки «Моей блондинки» перекрывали непрерывный треск шейкеров для коктейлей, я снова услышал голос Пола.

— Так значит, сын тоже пошел в морпехи? — спросил он. — Комендор так им гордился. Когда мы виделись в последний раз — лет десять назад, в Сан-Диего, сразу после Перл-Харбора, — он жалел, что сын слишком мал, чтобы воевать. Вырастет, сказал, все равно станет морпехом. Так оно и получилось. Комендор просто души в сыне не чаял. В Корее он сможет себя проявить. Хороший парень?

— Отличный, — сказал я с затуманенными глазами.

— Что это был за персонаж! — воскликнул Пол. — Бог мой! Он отдавал честь только командующему флотом и даже полковников не удостоивал своим вниманием. Повсюду, даже на парад, ходил в старом комбинезоне.

Пол весь ушел в воспоминания. Улыбаясь и качая головой, он продолжал:

— В сорок втором, в Пендлтоне, его заставили пройти медицинское обследование — ему тогда было уже за пятьдесят, — но он отказался уйти в отставку. Ему дали какую-то непильную должность, однако у него хвати-

ло ума, точнее сказать, нахальства, доехать с попутным транспортом, то есть буквально пробраться на транспортный корабль, идущий в Перл-Харбор, и там вломиться в кабинет командующего — все в том же старом комбинезоне, разумеется, — и потребовать, чтобы его направили в Первый дивизион. Он хотел на Гуадалканал, а не бумажки в конторе переключивать. Разумеется, у него ничего не получилось, но каков характер! Нет, сегодня таких, как комендор, в морской пехоте уже не осталось! А знаете, за что он получил медаль Почета?

Старый корпус. Внезапно я осознал, что, несмотря на живой рассказ Пола, мне абсолютно наплевать, за что старому хрычу дали медаль Почета, — и это отражало всю глубину моей неприязни к корпусу. В голосе Пола, напротив, слышались искренняя теплота и участие, как у английского джентльмена, вспоминающего службу на афганской границе, и, когда мои обида и разочарование достигли высшей точки, я понял, как глупо себя вел: в первую очередь он был офицером морской пехоты, всегда и везде, что бы ни случилось, а я, как влюбленная школьница, приписывал ему «начитанность» и «художественный вкус», не понимая, что это всего лишь проявление просвещенного дилетантизма. Удивительно, что военная служба с ее стандартными, унифицированными требованиями не стерла индивидуальные черты его личности, не про-

Морской пехотинец Мариотт

шлась по ним своим безжалостным сапогом; ведь эта организация требует от своих подчиненных лишь мужества и мускульной силы, а в вопросах культуры предоставляет им полную свободу оставаться невежественными обывателями, если не сказать хуже. Он читал Камю. Мне это кажется едва ли не чудом.

Горн все еще звучал в моем сознании, наполняя душу горечью и тоской; слушая прочувствованный панегирик старому солдату и другие легенды старого корпуса — воспоминания о морских походах, отпусках на берегу, ночевках в джунглях, сторожевых отрядах на Гаити, разведке в Никарагуа, перестрелках на границе с Китаем и прочих захватах и набегах, которые предпринимала Америка для установления своей диктатуры в Западном полушарии и во всем мире, — я вдруг осознал, что Полу эти темы интересны ничуть не меньше (если не больше), чем тонкости французской кухни или высокое искусство беллетристики. Для Пола узы памяти, преданности и веры, соединившие его с элитным сообществом профессионалов, были столь же прочны и незыблемы, как те, что связывают других людей с наукой или искусством, с политической партией или — если говорить точнее — с Церковью.

САМОУБИЙСТВЕННАЯ ГОНКА

Должен сделать небольшое признание. Несмотря на отвращение, которое я питаю к военной службе, кое-что в ней мне очень даже нравится, хотя, конечно, я не сравнил бы это с шахматами или Скарлатти. Взять, к примеру, миномет. На полевых стрельбах меня всегда восхищали слаженность, быстрота реакции и отточенные технические навыки минометного расчета и, в не меньшей степени, моя собственная способность командовать этими людьми, хотя от природы я довольно неуклюж. В том, как пехотинцы устанавливают на подставке длинный ствол, определяют положение прицельной вехи, регулируют уровень с помощью рукояток и колесиков, я вижу синхронные движения балетных танцовщиков, исполняющих волнующую прелюдию, за которой следует грохот выстрела; снаряд взмывает в небо и мчится навстречу последнему содроганию земли, означающему, что неподалеку — примерно в миле от вас — раз-

летелась в щепки хижина какого-нибудь бедного негра. Во время настоящего боя, думаю, все выглядит совсем не так красиво. Возможно, все это фантазии мальчишки, которому хочется заполучить самую большую и громкую хлопушку на свете, но в трубах, уставленных в небо, есть нечто отчетливо фаллическое, и вполне может быть, что мое удовольствие питалось из этого темного источника. Однако я твердо уверен, что именно ритм, точность и завершенность, так характерные для работы с минометами, придают войне, и особенно пехотному бою, магическую привлекательность в глазах мужчин.

Конечно, бывало, что во время учений минометы взрывались, убивая или калеча всех, кто оказался рядом; как-то раз (не в нашем подразделении) несколько снарядов упали, не долетев до цели, и восемь призывников погибли на месте. От таких нелепых случайностей меня бросало в пот и во рту все пересыхало от страха. Но в целом я научился справляться с подобными мыслями и получал удовольствие от работы. Как ни странно, больше всего мне нравились чисто военные аспекты службы, или, скажем так, они внушали мне наименьшее отвращение. Разгульная жизнь в Гринич-Виллидж плохо сказалась на моем организме, и хотя тут мне приходилось нелегко — бесконечные полевые учения, высадки десантов, сандистские марши, — но, преодолев первый шок, я с радостью чувствовал, что ко мне возвраща-

ется волчий аппетит и мускулы на вялом, обмякшем теле снова наливаются силой.

С фотографий тех лет на меня смотрит рослый, загорелый и очень несчастный офицер морской пехоты. К тому времени я уже забыл, какое удовольствие, какую чистую радость может доставить простая физическая усталость, и, бредя через леса и болота с моим веселым взводом минометчиков, чудесным образом избавлялся от досады и разочарования; удивительно, но чем труднее давалась наука боя, чем больше я вникал в детали пехотной тактики, тем меньше меня терзала безжалостная тоска.

В неподдельное отчаяние меня приводили не военные игры и даже не частые лекции полевой санитарии, перевозке грузов или коммунистической угрозе (на них я обычно спал), а недолгие часы свободного времени — по вечерам или в выходные, — когда выдавался случай подумать о том, какое ужасное будущее меня ожидает. Раздраженное ворчание в компании друзей по несчастью приносило временное облегчение, но давало очень непродолжительный эффект. Поэтому я предпочитал проводить свободные часы наедине с собой или с моим приятелем Лэйси, хотя по большей части просто запирался в душной комнате, где с маниакальной дотошностью средневекового схоласта прочесывал гранки своего первого романа или предавался буйным фантазиям и онанизму. В то лето в Леже-

не я раз и навсегда избавился от какого-либо чувства вины по отношению к неназываемому греху, который христиане числят среди самых тяжких. Лишив меня привычных радостей жизни, корпус не смог ничего поделаться с моим воображением, и я в одиночку устраивал извращенные безумные оргии, затмевавшие самые порочные фантазии Александра Портного*. Надо сказать, что вынужденное сексуальное воздержание — один из ключевых моментов в понимании так называемой «военной романтики»: заставьте солдата настолько тосковать по запаху женского тела, что он преисполнится невыносимой яростью, и получите человека, готового с радостью схватить штык и хладнокровно воткнуть его в живот противника.

Короче говоря, я так боялся, что умру без единого совокупления, что со всей энергией, остававшейся у меня после военных тренировок, старался предотвратить подобный исход, хотя, как я сейчас понимаю, мое неистовство едва не стоило мне жизни. И речь пойдет именно об этом...

В то время я почти ежедневно получал от своей любовницы (полагаю, что могу называть ее просто Лорел) пикантные послания, написанные красивым четким почерком выпускницы частной школы мисс Хьюитт. Женщины редко пишут совсем уж порнографическим

* Александр Портной — главный герой романа Филиппа Рота «Случай Портного».

стилем, но моя любимая отличалась невероятно распущенным воображением: непристойности, зачастую написанные на бланках ее мужа — «Эдвард Ф. Либерман, врач-отоларинголог», — хоть и вызывали у меня некоторую жалость по отношению к старине Эду, по большей части действовали как афродизиак. Эра авиапутешествий тогда только начиналась, а Нью-Йорк был от нас на расстоянии пятисот миль по узкому шоссе и далее по железной дороге, однако сверхчеловеческим напряжением сил можно было (в те редкие уикенды, когда обстоятельства складывались в нашу пользу и мы освобождались в субботу до середины дня) проехать на сумасшедшей скорости триста миль до Вашингтона, а там сесть на поезд, прибывавший на Манхэттен незадолго до закрытия баров, то есть около трех часов ночи. Это были необычайно краткие визиты — из Нью-Йорка требовалось уехать не позднее девяти часов вечера воскресенья, чтобы в понедельник утром успеть к подъему, — и я до сих пор с ужасом вспоминаю тот ужасный недосып. Однако нам с Лэйси так хотелось избежать ночного кошмара и столь мучительна была пытка желанием, что мы отправлялись в эту безумную поездку при любой возможности.

И вот, изнуренные днями и ночами на болоте, мы садились в его «ситроен» и с безумной скоростью мчались на север. Надó заметить, французы, создавая эту модель, не рассчитывали, что кому-то захочется ехать так

быстро. Упомянутый недостаток отчасти компенсировался уверенным и напористым стилем вождения Лэйси — он обладал реакцией автомата и безошибочно отличал рискованный маневр от действительно фатальной ошибки. У меня чуть сердце не выскочило из груди, когда на двухрядной дороге где-то в Каролине на скорости семьдесят миль в час относительно встречного движения, на почти последней передаче он обогнал огромный лесовоз и встроился перед ним. Я много раз чувствовал, как встречный грузовик или легковушка с ужасным свистом проносятся мимо нашего дрожащего от натуги «ситрое-на», и каждый раз осознавал, как мастерски Лэйси водит машину, — это была не столько лихость, сколько хладнокровие и расчет. Иногда мы с ним вели по очереди. Конечно, до Лэйси мне было далеко, но и я проделывал трюки, при воспоминании о которых мне сейчас становится дурно: так, например, подлетев на огромной скорости к переезду через железную дорогу Атлантического побережья, я проскочил на красный мигающий; въехав на насыпь, машина буквально взвилась в воздух, словно оживший кадр из «Копы Кейстоуна»*, и опустилась на асфальт с другой стороны за секунду до того, как позади нас пронесся локомотив, сигналив как сумасшедший. Мы еще

* «Копы Кейстоуна» — серия немых фильмов о полицейском участке, в которых полицейские представлены в комичном виде.

довольно долго в обессиленном молчании глядели на бегущие за окном пыльно-изумрудные табачные поля, унылые болота и поникшие от зноя сосны, пока наконец Лэйси, из которого потрясение не выбило привычной самоуверенности, не сказал с отстраненным видом: «Подъезжаем к Ницце. Ты любишь устрицы в белом вине?»

Но в тот раз мы еще легко отделались, а по-настоящему посмотрели в лицо смерти в другой раз, и этот эпизод мне запомнился не произведенным эффектом, в чем-то даже банальным, а странной ассоциацией, которую он вызвал у Лэйси. Его рассказ я не забуду никогда.

Глубокой ночью мы прибыли на нью-йоркский вокзал, покрытые пылью Северной Каролины и сажей самого древнего спального вагона Пенсильванской железной дороги, и сразу же попали в объятия наших заждавшихся подруг. Едва увидев их, мы словно вернулись к жизни. В Анни, жене Лэйси, можно было с первого взгляда опознать француженку. Милое, хотя и некрасивое личико, с лукавыми продолговатыми глазами и лучезарной улыбкой, а за ней — Лорел, тоже не красавица, но с пышной копной светлых волос и прелестными губками, влажно раскрытыми в сладострастном приветствии. Они не привезли нам никаких подарков, кроме себя самих, но этого нам хватало с лихвой.

Дальше все развивается по обычному сценарию (это не отчет об одном конкретном

приезде — моя память, увы, не сохранила таких подробностей, — а обобщенное описание нескольких): торопливо простившись с Лэйси и Анни, мы с Лорел спешим на стоянку, где нас уже ожидает предусмотрительно заказанное такси. С легкой дрожью, выдающей наше нетерпение, мы обмениваемся парой радостных, банальных реплик: «Привет, милый. Отлично выглядишь. Как доехал?» Лорел забирается в машину с грацией стриптизерши, обнажая внутреннюю сторону бедра, покрытую загаром Файр-Айленда, и чудесную упругую попку в форме перевернутого сердца, открытую напоказ сексуальными трусиками. Внезапно я осознаю, что весь горю, — это не просто любовная лихорадка, нет, в моей груди пылает смертельный пламень чумы, тифа, воспаления легких. Я приникаю к Лорел, обхватываю ее руками, и из горла у меня вырывается безумный булькающий звук. Такси несется на юг, в сторону Гринич-Виллидж. На Пятой авеню продолговатые отсветы зеленых и красных неоновых огней пробиваются сквозь полусомкнутые веки, и я изнемогаю от мокрого касания наших языков. Скользкий язык, возня, смутные контуры — я больше ничего не чувствую, если не считать ее ловких пальцев, пытающихся расстегнуть заевшую «молнию» на моей набухшей ширинке. Все к лучшему, успеваю подумать я, довольный, что никакое «доведение до оргазма посредством петтинга» — выражаясь казенным

языком сексопатологов — не испортит оставшейся на мой век земной любви.

И вот мы в подвале на Кристофер-стрит, специально снятом для этих встреч. Нет нужды подробно описывать невероятные истории, которые сочиняла Лорел, чтобы провести чудесную летнюю ночь вдаль от доктора Либермана и Файр-Айленда, и любовные безумства, которым мы предавались в нашем укромном уголке. Как уже говорилось, в постели Лорел умела все. У нее была привычка комментировать происходящее, которую я всецело одобрял, хоть и не нуждался в дополнительных стимулах, чтобы подхлестнуть слабеющее желание. Впрочем, сейчас камера должна отъехать назад (несмотря на то что этот прием, как мне представляется, лежит где-то между модой и банальностью), поскольку в противном случае на свет родится еще одно пошлое описание разврата, не имеющее отношения к делу. Однако с этой отдаленной точки зрения отчетливо виден не загорелый, туго сплетенный барельеф нашего совокупления (ей, как и мне, иногда нравились зеркала), но полная самоотверженность, с которой я служу своей страсти, словно, подчинив себя потребностям тела, могу уничтожить будущее, утвердить жизнь и победить страх смерти. Сон отложен, на него жалко времени; мы так и не разомкнули объятий; сквозь окно проникает свет зари; наступает утро, затем полдень. В три часа дня мы по-прежнему в

постели: плохо соображающие, помятые, исцарапанные, — и только тут я засыпаю на пару минут, а проснувшись, вижу Лорел, наклонившуюся надо мной, всю в слезах.

— Какие же вы, мужики, придурки! — всхлипывает она. — Вместо того чтобы трахаться, вы идете воевать! Нет, у вас точно что-то не в порядке с мозгами!

Еще один раз — долгий, яростный, томительный, — и я в последний раз забываюсь, перед тем как уже окончательно наступает пора вставать. Мы идем в душ, сонно одеваемся, долго и с аппетитом обедаем в одном из лучших итальянских ресторанов на Бликер-стрит и приезжаем на вокзал ровно к отправлению поезда, к восьми ноль-ноль... Конец сценария. Продолжительность: семнадцать часов.

Все это было слишком уж рьяно и неистово, и в какой-то момент мне показалось, что эпитет «самоубийственные», которое я уже тогда использовал для наших поездок, отнюдь не смешно; в строгом смысле слова, суть этих отчаянных вылазок заключалась в тяге к саморазрушению. Возвращение на базу в понедельник утром после очередной поездки в Нью-Йорк было мучительно, и не только из-за половых излишеств: поезд пришел с двухчасовым опозданием, в вагоне стояла жара и нестерпимая вонь, нудно вопили разносчики сладостей и отчаянно визжали младенцы, в глаза бросались безотрадные га-

зетные заголовки, в которых говорилось о больших потерях морских пехотинцев в Корее, к тому же где-то под Ричмондом мы пробили шину и пришлось ее менять под проливным дождем. Возвращаясь с больным горлом и соплями — первыми признаками летней простуды, — я думал (и, кажется, Лэйси разделял мои чувства), что уж лучше Корея, где мне продырявят шкуру или отрежут яйца, чем еще одно такое паломничество. Кости ныли в предвкушении настоящего сна; в полудреме перед глазами вспыхивали красные пятна и проносились тревожные галлюцинации. Я вел машину первую часть пути от Вашингтона до Эмпории, штат Виргиния, а мой спутник тем временем пытался хоть немного поспать. Потом, когда мы ехали вдоль побережья Каролины, за рулем снова сидел Лэйси. Он безжалостно выжимал из «ситроена» последние силы, пропахивая жемчужный полумрак рассвета и ввинчиваясь в облачка пыльного тумана, поднимавшиеся от плоских однообразных полей зеленого хлопка и табака.

Я отчетливо помню, что мне снилось сборище наглых гномов, одетых как в сказках братьев Гримм, которые собрались на пивной фестиваль в осеннем саду. Они делали какие-то знаки, обращаясь ко мне по-немецки, хоть на этом языке я знаю не больше десяти слов. Я что-то им бойко отвечал и приветственно махал рукой, и тут, в разгар бредовых

фантазий, мои глаза распахнулись и перед ними предстало сразу два ужасных зрелища: Лэйси спал с полузакрытыми глазами, его руки безжизненно обмякли на руле, а прямо перед нами на дорогу выезжал огромный грузовик с прицепом. Я не знаю — и никогда не узнаю, — какое расстояние было от нас до того перекрестка на окраине фермерского городка, где красный сигнал зловеще и бессмысленно мигал нам из тумана. Знаю только, что мы были на волосок от столкновения, и до сих пор некоторые детали выступают у меня в памяти отчетливо, как на картине-иллюзии. Я помню сам грузовик с мешками удобрений в кузове, выползающий из тумана словно мастодонт; иссиня-черный блестящий локоть водителя-негра, высунутый из бокового окна, и его белые, как яичная скорлупа, встревоженные глаза, поворачивающиеся в нашу сторону; огромную красную надпись «Виргиния-Каролина кемикал» на боку грузовика — какую-то долю секунды все эти осколки восприятия существовали по отдельности, прежде чем слились в один устрашающий образ аннигиляции.

— О черт! Лэйси! — завопил я. От моего крика он моментально очнулся и приложил титанические усилия, чтобы вытащить нас из могилы. До сих пор не понимаю, как ему это удалось: он крутанул руль и резко затормозил — нас занесло. Я услышал его вскрик, визг забло-

кированных колес и потом мой собственный голос, повторяющий:

— О черт! Лэйси! Черт, черт, о черт!

Нас мотало из стороны в сторону и тащило прямо на отсвечивающие страшным блеском огромные колеса, готовые вот-вот измолоть нас в кровавый фарш. Мы неслись вперед и вперед, вопя от ужаса. Я видел, как локоть негра взлетел вверх в странном вывернутом жесте, и в тот же миг над кабиной взвился синеватый дымок. Скорее всего это означало, что водитель надавил на газ и его рефлекторное движение обеспечило узкий просвет, спасительный для всех троих. Трудно сказать, чему мы обязаны своим избавлением — его испугу, умелым действиям Лэйси или тому и другому вместе, а может, Провидению, хранящему невинных чернокожих дальнобойщиков и смертельно усталых морских пехотинцев, — только наша машина разминулась с прицепом на несколько дюймов и через секунду, трясясь и вибрируя, замерла в заросшей сорняками канаве. Хотя от испуга мы на какое-то время лишились дара речи, никто из нас не пострадал, а наш красавец «ситроен» не получил даже царапины.

— Эй, вы живы? — услышал я голос негра, доносившийся с дороги, где он остановил свою колымагу.

Лэйси с трудом поднял руку, чтобы помахать ему в ответ, и еще через какое-то время хрипло прокричал:

— Извини, приятель.

Потом он положил голову на руль. До меня донесся сдавленный смешок, плечи Лэйси сотрясала истерическая дрожь. Наконец, не сказав ни слова, он выпрямился и завел мотор; мы поползли сквозь рассвет со скоростью, приличествующей почтенной старой даме.

Лишь несколько миль спустя я пришел в себя настолько, чтобы произнести несколько слов, пустых и банальных, как весь недавний эпизод. Я покосился на Лэйси, но он ничего не ответил. На тонко очерченном, почти нежном лице вдруг проступило суровое и горькое выражение: теперь он выглядел осунувшимся, постаревшим, ничуть не похожим на мальчишку. Когда Лэйси наконец заговорил, в голосе его слышались боль и напряженность, как будто наше чудесное спасение дало выход какому-то давно сдерживаемому страху.

— Я снова видел эту проклятую собаку! — сказал он.

— Какую собаку? — опешил я. — Снова?

Я даже подумал, что с ним случилось временное помрачение.

Какое-то время Лэйси ехал молча, потом сказал:

— Видишь? — и протянул мне правую руку. Небольшие бугорки шрамов — примерно пять или шесть — расположились на ладони неровным полумесяцем. Я видел их раньше и счел следами от ранения, очевидно, неопас-

ного. Мне никогда не приходило в голову спрашивать, и Лэйси никогда про них не говорил — по крайней мере до сих пор.

— Это случилось на Окинаве, в сорок пятом, когда бои уже подходили к концу, — сказал он. — Я командовал стрелковым взводом в Шестой дивизии морской пехоты. Стоял июнь, время близилось к полудню, и, по выражению нашего сержанта, было жарко, как в центре ада. Наш батальон уже два дня штурмовал маленький городишко, где японцы построили сильную линию обороны. У них там была артиллерия, много тяжелых орудий, и нас постоянно обстреливали. Но благодаря нашим собственным пушкам и нескольким авианалетам мы смогли продвинуться довольно далеко, и около полудня, как я уже сказал, мой взвод двинулся вперед — мы должны были прочесать парочку улиц.

Лэйси замолчал и машинально потер шрамы о скулу.

— Как только мы дошли до первых домов, японцы начали обстрел из минометов, с позиции, которая уцелела после нашего огня. Они все были камикадзе — мечтали умереть и прихватить нас с собой, потому мы и несли такие потери. В общем, мы залегли рядом с дорогой, я сполз в небольшую канаву, полную жидкой грязи, и миномет принялся выколачивать из нас дерьмо. Врагу не пожелаешь оказаться в этой поганой луже. Японцы пристрелялись по нас и вели огонь на поражение;

сам не знаю, как я остался в живых. Это продолжалось не меньше пяти минут, потом я вдруг поднял глаза и увидел как раз напротив того места, где лежал, не больше чем в пяти ярдах от меня, на другой стороне дороги огромную тощую собаку: лапы у нее подгибались — она, похоже, совершенно обезумела от рвущихся вокруг снарядов.

Должно быть, я немного приподнялся. Хотя я, как все, стреляю с правого плеча, но вообще-то я левша и карабин держал в левой руке, стараясь не залить его грязью. Увидев меня, пес просто перелетел через дорогу и, впившись зубами в мою свободную руку, прокусил ее насквозь. Это было полное безумие, кошмар — минометный обстрел косит все живое вокруг, а здесь перепуганная свирепая псина вонзилась клыками мне в ладонь, да так крепко, что я не мог ее вырвать, сколько ни пытался. Собака не издавала никаких звуков: не рычала, не лаяла, просто отгрызала мою руку, не сводя с меня сумасшедших блестящих глаз. Невозможно описать словами, какая это была боль; я даже не помню, кричал я или нет. Мой взводный сержант лежал недалеко от меня, но даже если он и видел, то ничем не мог помочь, прижатый огнем к земле. Господи, каждый раз, как я об этом думаю, рука у меня снова начинает болеть.

— И что же ты сделал? — спросил я.

— Я понимал, что должен пристрелить собаку, но очень трудно выстрелить из вин-

товки, даже просто прицелиться, если у тебя свободна только одна рука. Да еще я по глупости оставил оружие на предохранителе. Тем не менее ничего не оставалось, кроме как застрелить ее. И, видит Бог, я прилагал к этому все усилия. Какое-то время мы смотрели друг на друга в упор. В ее глазах было что-то мстительное, демоническое. Как бы сказать... Я чувствовал, что в каком-то смысле получаю по заслугам, что эта собака — воплощение всех невинных жертв, которых изувечила и свела с ума война; им уже ничего не осталось, кроме как набрасываться на своих мучителей, хватая первого, кто попадется. Чистая фантазия, конечно, бедная зверюга просто испугалась, но тогда я так думал.

— И ты, конечно, ее убил? — спросил я.

— Ну да, — ответил Лэйси. — В конце концов я дотянулся до карабина — уж не знаю, как снял его с предохранителя, и выстрелил ей прямо в голову. Это было невероятно противно. Когда огонь прекратился и мы смогли двинуться дальше, санитар целых пять минут пытался вытащить собачьи клыки из моей ладони. Для меня война на этом закончилась: в тот же день я был отправлен в госпиталь, чтобы пройти курс профилактических уколов от бешенства. И пока мне делали эти уколы — очень болезненные, надо сказать, — мы захватили Окинаву.

Он немного помолчал. Мы уже подъезжали к лагерю, и на дорогах стали появляться

Самоубийственная гонка

первые машины: фермеры на грузовичках, туристы с флоридскими номерами, уезжающие на лето на север, морские пехотинцы, возвращающиеся на базу. Лэйси вел машину очень медленно и осторожно.

— О Господи, — наконец сказал он с тоской в голосе, — этой войны нам не пережить.

ДОМ МОЕГО ОТЦА

В год, когда закончилась война (великая война за то, чтобы не было больше войн), я вернулся Виргинию, в дом моего отца, и по утрам блаженно спал допоздна. Один раз я проснулся от странного сна, исполненного манией величия. Честно говоря, мне и раньше снились такие сны. Так, например, когда я учился в колледже, мне приснился Джеймс Джойс. Мы сидели за столиком кафе где-то в Европе, наверное, в Париже, и пили кофе. Он смотрел на меня подслеповатым взглядом, как на давнего знакомого, и его ничуть не смущало случайное соприкосновение наших рук, а когда он обращался ко мне, ирландский выговор был преисполнен почти приторным восхищением:

— Пол Уайтхерст, для меня ваше творчество — неиссякаемый источник вдохновения. Если бы не вы, я бы никогда не закончил «Дублинцев»!

Я очнулся от этой нелепой фантазии, охваченный таким безумным восторгом, како-

го, думаю, мне больше никогда в жизни не испытать. На войне же меня посещали совсем другие видения. Однако с приходом мира я настолько воспрянул духом, что на выручку моему ослабевшему самомнению тут же явился очередной подобный сон. В этом эпизоде я сидел рядом с Гарри Трумэном в лимузине, катившем по Пенсильвания-авеню.

— Пол Уайтхерст (снова отчетливо прозвучало полное имя), вы дали мне бесценный совет — сбросить на Японию атомную бомбу.

Знамена плещут на ветру, ревет военный оркестр, я раскланиваюсь с нарядной толпой.

— Благодарю вас, господин президент, — отвечаю я. — Я много над этим думал.

Проснувшись, я довольно долго лежал, беспомощно давясь от смеха. Потом сон рассеялся, как рассеиваются все сны. В голове не было ни единой мысли. Наконец снизу, с кухни, донеслись привычные звуки, и, втянув ноздрями вкусные запахи, я приготовился к новому дню.

За одним важным исключением, о котором я упомяну чуть позже, отцовский дом мне очень нравился. Он внушал радость жизни. Отец никогда не был богачом, но благодаря военным заказам дела на судовой верфи, где он проработал почти всю жизнь, шли в гору, и это дало ему возможность переехать из тесного маленького бунгало, в котором прошло мое детство, в просторный, удобный дом с верандой и стеклянными дверями, обращен-

ными к гавани. Огромная, шириной в несколько миль, акватория всегда кишела судами: военными эсминцами, танкерами или сухогрузами; на таком расстоянии они казались уже не уродливыми, а наоборот, впечатляющими. Местные патриоты превозносили порт, говоря, что он ни в чем не уступает Сан-Франциско, Рио и Гонконгу и даже в чем-то их превосходит. На мой взгляд, это было сильным преувеличением: панорама бухты представлялась мне довольно однообразной и слишком уж плоской, чтобы от одного ее вида «перехватывало дыхание».

Тем не менее зрелище было по-своему грандиозное. Я не мог не признать, что отец купил дом с видом на миллион (он повторял это при каждом удобном случае), и обширное водное пространство, где днем сверкало солнце или вздымались волны, а по ночам пароходы перекликались жалобными гудками, стало одним из самых приятных моментов моего возвращения с войны. Лето в южных атлантических штатах чудовищно жаркое и влажное, но по утрам залив одаривал нас прохладным бризом («бриз на миллион долларов», говорил мой отец в самые знойные дни). Проснувшись, я лежал, вдыхая запах кофе и блинчиков, а потом расплывался в улыбке — в искренней, широкой улыбке до ушей, от которой на щеках играли ямочки: меня переполняло ощущение жизни и здоровья, способность ощущать аромат горячих блинчи-

ков казалась удивительным подарком. Мною овладевало совершенно беззаботное настроение, и все тело трепетало от радости — или даже блаженства; я лежал на залитой солнцем постели и слушал, как поет пересмешник в ветвях акации за окном, как уходит на работу отец, как кричат чайки над водой, как проезжает на велосипеде негр — разносчик цветов, как скрипит телега (в те дни еще можно было увидеть лошадей и повозки, но скоро они исчезли), как стучат копыта и снова раздается крик «Цветы! Кому цветы?», пронзавший мое сердце словно в далеком детстве. Причина моей радости была проста — я выжил. Я выжил и лежу дома, в своей постели, я больше не движущаяся мишень на равнинах Кюсю или в щебенке пригородов Осаки и не молю Бога, чтобы он как чудо даровал мне еще один-единственный день жизни в котле войны, которой нет конца! Лишь несколько месяцев назад смерть была для меня такой близкой, что теперь сама жизнь приводила в бесконечное восхищение.

Но, раздумывая о своей удаче, трудно было избавиться от чувства вины. Три года назад, семнадцати лет от роду, поддавшись браваде и, вероятно, жажде смерти, я подал заявление в школу офицеров Корпуса морской пехоты. Поскольку считалось, что мои сверстники слишком неопытны и не могут командовать войсками в настоящем бою, флотское начальство решило отправить нас в колледж, чтобы

мы получили хоть какие-то знания и немного пообтесались. Это давало нам дополнительный год или два умственного и физического развития перед роковой схваткой с японцами. Я и мои одноклассники, как самые младшие, дольше всех оставались курсантами, а те, кто был всего на год старше, прошли офицерскую подготовку и отправились напрямиком в самое пекло последней стадии войны на Тихом океане. Смертность среди лейтенантов морской пехоты была самой высокой из всех военнослужащих. Это известный факт. В своей книге «Братья по оружию» Юджин Следж, служивший рядовым, так описывает ситуацию: «Во время боев на Окинаве лейтенанты постоянно менялись. Их ранили или убивали так часто, что мы ничего не успевали о них узнать... Мы видели их живыми только раз или два... Казалось, современные средства ведения войны упразднили должность командующего стрелковым взводом».

Будь я годом старше, меня бы отправили в кровавую мясорубку Иводзимы. Каких-то шесть месяцев разницы, и быть мне одним из тех мучеников Окинавы, о которых писал Следж. Я был на волосок от этой горькой участи, а вместо этого оказался на Сайпане, где мы готовились к вторжению в Японию. У меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить о том, чего я избег на Иводзиме и Окинаве, и о том, что меня ждет, когда мы будем штурмовать укрепленные побережья Японии.

Изрытые снарядами поля сражений прошлого ясно говорили о том, каким будет мое будущее, и печальная судьба испуганных, но не дрогнувших парней, с которыми мы простились, предзнаменовала мою собственную судьбу.

Как бы то ни было, по утрам, лежа в постели, я поглаживал себя, наслаждаясь тактильным ощущением здорового тела. Это было не ленивое самоудовлетворение, которому предаются люди в одиночестве, а сознательная, сосредоточенная инвентаризация всех частей тела. Взять хотя бы одни только руки и пальцы и рассмотреть их в контексте благополучно избегнутой мной Иводзимы. Как известно, после нашей высадки весь берег был завален изуродованными телами, отдельные руки и ноги находили в сорока футах друг от друга, брызги мозгов покрывали котелки и ранцы. Тем, кто выжил, навсегда врезались в память цифры понесенных на Иводзиме потерь — двадцать шесть тысяч убитыми и ранеными (шесть тысяч только убитых). Это население небольшого американского городка. Большая часть ранений приходилась на руки и пальцы — их не спрячешь, они постоянно чем-то заняты, и поэтому особенно уязвимы. Размышляя о том, сколько пальцев было оторвано или изувечено в этой адской куче пепла, я вытягивал средний палец, качал им, гладил его большим, мягко тер о кожу на груди и

не переставал радоваться, что легко могу выполнить эти обезьяньи действия.

Еще можно было лишиться руки или ноги. Во время войны на Тихом океане ампутации рук и ног приобрели характер эпидемии. С каким огромным удовольствием я ощупывал тугую, маслянистую плоть бицепса, сжимая так сильно, чтобы чувствовался здоровый напор крови, пульсирующей в артерии, или энергично хлопал по мускулам бедра. Однако радость мгновенно улетучивалась, уступая место глубоко укоренившемуся чувству вины, едва лишь я представлял, что в это самое время кто-то лежит в госпитале с ампутированной ногой и кусает губы от фантомной боли.

Можно получить невероятные увечья и все-таки остаться в живых. В колледже с нами учился парень по имени Уэйд Хупс из небольшого городка в Теннесси. Он был командиром стрелкового взвода на Окинаве и подорвался на мине-растяжке, когда вместе со своей группой проводил рекогносцировку местности в окрестностях разбомбленной деревушки. Уэйду оторвало ногу, и лишь благодаря быстрым и умелым действиям стрелка-санитара он не умер на месте от потери крови. После войны Уэйд рассчитывал стать юристом и, также как его отец, одно время занимавший пост вице-губернатора штата Теннесси, заниматься политикой. Парень он был добрый и сердечный, и вдобавок ему было свойственно типичное для политиков болтливое бла-

годушие. Особым умом он не отличался, но для политика это и не нужно. Что я еще помню про Уэйда Хупса — так это его идиотскую страсть к Джун Эллисон* и альбом ее фотографий, который он везде возил с собой, — вероятно, даже на Окинаву. Джун в купальнике, Джун в белых носочках и баварском платье, Джун лучезарно улыбается, обнажая стерильно чистые лошадиные зубы. Я представлял, как он изо дня в день онанирует, разглядывая фотографии своей безупречной возлюбленной. Шарик шрапнели от той же растяжки попал ему в голову, повредив центр речи, и с тех пор он не мог произнести ни слова, ни звука, ни писка. Когда новость про Уэйда Хупса дошла до нашей тренировочной базы на Сайпане, она потрясла нас до глубины души. У инвалида войны хорошие шансы победить на выборах — за него проголосуют хотя бы из сострадания. Но политик без голоса? Это все равно что королева красоты без сисек. В остальном он был полностью здоров, хотя непонятно, стоило ли этому радоваться. Однако каждый из нас думал про себя: он по крайней мере остался жив.

Я слушал, как в кухне гремит посудой моя мачеха Изабель и как по соседству, в ванной, плещется отец, что-то напевая себе под нос. У него был неплохой тенор, немного дребезжащий, но сильный, и, моясь, он распевал

* Джун Эллисон — американская актриса, популярная в 1940—1950-е гг.

арии из опер Верди, Пуччини и Моцарта, услышанные по радио или на старых пластинках Карузо. При этом он чудовищно коверкал итальянские слова, которые запоминал со слуха. Вообще англосаксам этот язык дается с трудом. Я не сразу разобрал в доносившихся сквозь шум сливного бачка и бульканье полоскания звуках «Dalla sua parte»* и «Il mio tesoro»**. Но чаще это был самодельный итальянский вроде тра-ла-ла-ла-Dio! Или ла-ла-ла-аmore!***» Мы с отцом обычно завтракали вместе, перед тем как разойтись: я отправлялся в школу, а он на машине вместе с другими такими же белыми воротничками — на свою верфь.

Все это было задолго до смерти моей матери и до того, как отец познакомился с Изабель — дамой, чье появление оставило в моей душе небольшую, но чувствительную занозу. Я слушал, как она возится на кухне. Изабель отлично готовила, и одним только аппетитным завтраком дело не ограничивалось — ее таланты простирались гораздо дальше. У меня не укладывалось в голове, как могла эта строгая, сторонящаяся всех земных радостей женщина, профессиональная медсестра, чей

* «Мир и покой твой я охраняю» — первая ария дона Оттавио из оперы Моцарта «Дон Жуан».

** «К милой невесте скромной теперь поспешить» — вторая ария дона Оттавио из оперы Моцарта «Дон Жуан».

*** Боже, любовь (*ит.*).

вкус атрофировался от больничной пищи и куриных фрикаделек, которые подавали в кондитерской «Бейд-А-Ви», где она обедала в компании таких же незамужних медсестер, готовить не просто съедобную, а по-настоящему вкусную еду. Я подозреваю, причина тому — мой отец. Не будучи гурманом, он все же привык к традиционной южной кухне, которая в своих лучших проявлениях просто восхитительна, и потому, как я полагаю, сразу дал понять, что рассчитывает на приличный стол. Хотя обычно Изабель не делает ему поблажек, но с готовкой она справилась. Этого у нее не отнять. Лежа в постели и слушая, как мачеха хлопчет внизу, готовя завтрак, я думал о ней лучше, чем в любое другое время дня. Хотя она, конечно, ужасно шумела. Изабель была некрасива и худа и двигалась по кухне с неуклюжей торопливостью. Для меня так и осталось загадкой, как же она справлялась с работой медсестры, требующей, по моему разумению, всей мягкости и плавности движений, на какую способна женщина.

Время от времени я с ужасом думал, что было бы, если бы отец женился на ней, скажем, на пять лет раньше, когда мне было десять. Она бы меня уничтожила. А так, когда они решили скрепить свой союз, мне было уже пятнадцать и сколько-нибудь существенных неприятностей я избежал, поскольку сначала учился в закрытой школе и в колледже, а потом служил в морской пехоте. Дома я по-

чти не жил. Я долго ломал голову, пытаюсь отгадать причину нашей взаимной неприязни, но так ни до чего и не додумался. Конечно, миф о злобной мачехе мне известен. Мачеха, по определению, мегера. Чудо, если мальчику или девочке (в особенности единственному ребенку вроде меня) доставалась добрая, любящая мачеха: настоящая мачеха — вредная, злая, жадная, ревнивая, подозрительная, злопамятная и так далее. В определенной степени Изабель как раз такая и была — живое воплощение архетипа. Только горячая привязанность к отцу, которого я любил, несмотря на то что он женился на этой ведьме, удерживала меня от настоящей ненависти и заставляла сдерживать вскипающие в душе чувства. Конечно, я бы мог высказать все, что о ней думал, и навсегда убраться из этого дома, но мне не хотелось огорчать отца, который во мне души не чаял.

Поэтому мы с Изабель обращались друг к другу с ледяной вежливостью, и я старался не заводиться в ответ на ее, как мне казалось, беспричинную враждебность. Со своей стороны она тоже не давала воли негодованию, которое, я уверен, испытывала, глядя на пасынка: ленивого, наглого, высокомерного, мастурбирующего, склонного к алкоголизму, самолюбленного бездельника, который шлялся по дому в форменных подштанниках, из которых у него яйца вываливались. Видит Бог — учитывая мой тогдашний душевный разброд,

мое негероическое, но невероятное спасение, чувство вины и сексуальную озабоченность, — я тоже был не подарок. Через каких-то несколько месяцев после моего возвращения мир уже втягивали в другую войну, столь же мрачную и зловещую, как предыдущая, — в «холодную войну», объявленную Уинстоном Черчиллем в каком-то коровьем колледже в Миссури*.

Лежа на спине, я сосредоточенно скользил взглядом вдоль своего тела, любясь благословенным твердым жезлом, удерживающим небольших размеров палатку из простыни, и старательно боролся с желанием развлечься. В конце концов я только символически, почти что ласково, хлопнул по восставшей плоти, оставляя на потом роскошь обладания той частью тела, которая важнее рук, ног, пальцев и даже глаз. И даже мозгов. Особенно мозгов! Кому они нужны! Перед высадкой морпехи дрожали от страха за свое драгоценное хозяйство. Природа поместила его в довольно безопасное место, куда осколки попадали относительно редко, и все же бывало, что молодые люди возвращались с войны скопцами. Я радовался, что сохранил эту часть тела.

Ну, еще чуть-чуть, и эта мысль совпадает с промельком женского тела (могу сказать

* Знаменитая Фултонская речь Уинстона Черчилля была произнесена 5 марта 1946 г. в Вестминстерском колледже в г. Фултон, штат Миссури.

только, что она совсем раздета). Сквозь прозрачную тюлевою занавеску можно различить лишь смутные очертания, но мое сердце почти останавливается. Это Майми Юбэнкс, двадцати лет от роду, как всегда, в одно и то же время с точностью до минуты, выходит из душа и вытирается перед окном. От дома Юбэнксов до нашего рукой подать. Если бы не полупрозрачная штора, мой зоркий глаз снайпера различил бы мельчайшие поры на стройной попке Майми. Звуки плещущейся воды и веселый голос, распеваящий гимны, будили во мне определенные ожидания, однако предчувствия обычно обманывали: она скрывалась за занавеской, и я успевал заметить лишь розоватое мелькание и темную кляксу лобковых волос. И все это под такие воодушевляющие мелодии, как «К Тебе зываю я, Господь» и «В небесных долинах нет печали».

Так продолжалось уже несколько недель. В районе, куда перебрался мой отец, несмотря на потрясающий вид, жили в основном люди среднего достатка. Мой отец не был богачом, но все-таки оказался богаче соседей. Семейство Юбэнкс переехало сюда из отдаленного городка на том берегу реки Джеймс; это были простые трудолюбивые люди, с которыми отец прекрасно ладил, особенно если учесть, что сам он не отличался благородным происхождением. Поскольку у Юбэнксов не было ничего общего с нашей семьей, бли-

зость домов немного раздражала. Миссис Юбэнкс постоянно готовила на целую ораву бедных родственников, съезжавшихся к ним со всего города, и запах тяжелой деревенской пищи — окорока, мясной подливки, фасоли и гороха — проникал в наши комнаты. Мы постоянно вдыхали ароматы еды. А кроме того, у мистера Юбэнкса, проповедника, подрабатывавшего в похоронном бюро, была искривлена носовая перегородка, и тихими летними ночами, когда все окна были открыты, от его громкого храпа дребезжали стекла. Отец не мог уснуть и ужасно мучился. Из-за этого он называл мистера Юбэнкса Кинг-Конгом. Мне же не давала покоя Майми Юбэнкс. Несколько лет назад, когда я уезжал учиться в школу, она была неуклюжим подростком, вся в ярких прыщах. А теперь я с трудом узнал ее — так она изменилась. В те дни про сексуально привлекательную молодую девушку говорили «хорошо смотрится в свитере», и Майми вполне соответствовала этому критерию. Ее щеки сияли румянцем, а когда она вприпрыжку бежала по дорожке к своему дому, бросая мне на ходу «Привет!», под кашемиром обозначались соблазнительные выпуклости. С тех пор как я впервые увидел ее после долгого перерыва (это случилось сразу после ее возвращения с летних курсов по изучению Библии в каком-то колледже Северной Каролины), я просто изнывал от желания делать с ней то, чего был лишен во время службы на

Тихом океане. Удивительно, что я так долго продержался. Я даже не знал, девица Майми или нет, но поскольку она состояла в обществе молодых христиан-баптистов, то скорее всего была абсолютно невинна, — и тем больше мне хотелось разузнать, так ли это на самом деле. Я твердо решил, что позвоню ей сразу, как только спадет эрекция, и, если получится, приглашу на свидание на сегодняшний же вечер. Конечно, я мог просто постучать к ней в дверь, но я все же немного стеснялся, а телефон обеспечивал безопасное расстояние.

Я бросил взгляд на альбомы, которые просматривал вчера перед сном. Они так и остались лежать на кровати. Мне нравилось перебирать свои мальчишеские сокровища, терпеливо дожидавшиеся в шкафу, пока я служил в морской пехоте. Я вспоминал о них и на Сайпане, и на транспортных кораблях, но больше уже не надеялся увидеть. Теперь, вернувшись из царства мертвых, я был безумно счастлив обрести то, что считал безвозвратно утраченным. Винтовка «ремингтон» 22-го калибра, без единого пятнышка ржавчины, пахнувшая оружейной смазкой: я стрелял из нее белок рядом с железной дорогой «Чесапик и Огайо». Переплетенный комплект ротапринтного журнала «Морской конек»: я выпускал его, когда учился в школе. Серебряный кубок за победу в парусной регате: мы с моим двоюродным братом построили не-

большой двухпарусный швертбот и выиграли на нем гонку. Двенадцать томов «Книги знаний», изданной в Англии приблизительно в 1910 году. Когда мне было лет одиннадцать-двенадцать, я мог бесконечно их читать и пересчитывать, подолгу рассматривая фотографии своих сверстников, сделанные на пляжах Брайтона и Блэкпула. На снимках мальчишки играли в крикет и ели что-то такое, чего их американские сверстники в глаза не видели. Далее шли уроки Чарлза Атласа*, которые мне раз в две недели присылали по почте. В четырнадцать лет я очень хотел быть сильным, и поэтому заказал (заплатив огромную по тем временам сумму — двадцать пять долларов) дюжину брошюр с указаниями, как без гантелей, с помощью одного только «динамического напряжения», превратить девяностофунтового задохлика в настоящего атлета. Я бросил занятия на второй неделе: надоело стоять перед зеркалом в одних трусах, поочередно напрягая и расслабляя тощие конечности.

Альбом с фотографиями. Словами не передать, как мне хотелось иметь его при себе на Сайпане, когда я томился предчувствием скорой смерти. В этом альбоме жила память о ранних годах моей жизни, фотографии дру-

* Чарлз Атлас (настоящее имя Анжелино Сицилиано) — американский бодибилдер итальянского происхождения; разработал собственную систему упражнений.

зей и родителей — и все находилось в десяти тысячах миль от меня, день и ночь дрожащего от страха. Я так долго верил, что никогда больше не увижу этих портретов и уж тем более изображенных на снимках людей, что набросился на дешевый дерматиновый альбом с жадным восторгом. Смотреть на снимки, после того как отменили мой собственный смертный приговор, — все равно что вернуться в детство, где живы все мои друзья. Однако сегодня я не мог избавиться от томления плоти, потому предпочел разглядывать не школьных приятелей, а мою кузину Мэри Джейн. Ростом она была четыре споловиной фута и такая хорошенькая — словами не описать. Всякий раз, когда я наводил на нее фотоаппарат, она бессовестно корчила смешные рожи. Это было в последнее довоенное лето. Почти сразу после смерти моей матери меня отослали на каникулы в Каролину, к тете и ее мужу полицейскому в маленький городок сразу за границей штата. Кроме удушающего одиночества это лето оставило еще одно неизгладимое впечатление: начало гормонального созревания накрыло меня как наводнение — Джонстаун.

Мне только исполнилось четырнадцать. Из того бесконечного лета я помню не многое: как скучал в душном бунгало, как по радио крутили какую-то деревенскую дребедень, с каким благоговением я ожидал вечерней порции мороженого и в одиночестве хо-

дил в кино, — но, наверное, никогда не забуду ту страсть, совершенно новое (я поздно созрел, и тогда еще не занимался онанизмом) и странно пугающее чувство, поскольку моим предметом была горластая малышка Мэри Джейн. Разве можно испытывать подобные чувства к родственнице? Да еще такой маленькой? Ни кровное родство, ни страх инцеста не спасали: я воцелился к своей двоюродной сестре одиннадцати лет от роду, с запахом леденцов изо рта и преждевременно сформировавшейся грудью, которая, хихикая, плюхалась мне на колени в пижамных штанах и вопила: «Мам, а Пол дразнится!» Плохо она понимала, кто кого дразнит и что случилось однажды утром, когда она, вырвавшись из моих крепких объятий, простодушно схватила мой набухший член и спросила:

— Что это?

В панике я ответил:

— Не знаю! — И тут же юркнул в ванную, где и пережил сладкое потрясение первого оргазма.

К счастью для нас обоих, наше совместное проживание вскоре закончилось. Однако этот шумный маленький бесенок на все времена останется моей Цирцеей, а городок Ахоски, Северная Каролина (население четыре тысячи восемьсот десять человек), — моим незабываемым Вавилоном.

Я слышал, как отец спускается по ступенькам в столовую, и уже собирался, как обычно,

выпрыгнуть из постели, натянуть халат и присоединиться к нему, но тут мне попался на глаза свежий номер «Нью-Йоркера», купленный вчера вечером в киоске. Я немного полистал карикатуры перед сном, и теперь, взяв журнал с подушки, заметил нечто ускользнувшее от моего внимания, нечто совершенно невообразимое. Текст выпуска шел сплошным куском, от начала до конца, колонка за колонкой, огибая рекламные объявления; вся история или рассказ, называйте как угодно, тянулась непрерывно и обрывалась лишь на последней странице прямо над подписью: Джон Херси. Я очень удивился: весь выпуск посвящен одной-единственной статье. Я вернулся к началу, к заголовку «Хиросима», и стал читать:

БЕСШУМНАЯ ВСПЫШКА

6 августа 1945 года, ровно в четверть девятого по японскому времени, в ту минуту, когда атомная бомба взорвалась над Хиросимой, мисс Тосико Сасаки, сотрудница отдела кадров компании «Восточноазиатские оловянные изделия», сидела на своем рабочем месте в конторе. Она как раз повернула голову, чтобы задать вопрос девушке за соседним столом.

Я продолжал читать. Из первого же абзаца становился ясен настрой всей хроники: «Взрыв атомной бомбы уничтожил сотни тысяч человек. Эти шестеро оказались сре-

ди уцелевших. Они до сих пор гадают, почему остались в живых, когда все вокруг погибли».

Я отбросил простыню и упер толстый журнал себе в живот. Имя Джона Херси было мне знакомо. Морпехи, которым не довелось участвовать в боевых действиях, с ужасом и болью читали в журнале «Лайф» его репортажи об ожесточенных сражениях на Гуадалканале. Он по-прежнему писал тем ясным, точным, сдержанным языком, который запомнился мне по его статье, озаглавленной «В долину». В ней шла речь о судьбах молодых американцев, попавших в эту кровавую бойню. Однако теперь страдающей стороной были японцы. Я не отрываясь прочел пять или шесть страниц: речь шла о женщине, которую звали миссис Накамура. Она помнит, что увидела спящую белую вспышку, и в следующую секунду дом разлетелся на куски, завалив ее и детей. На этом месте я услышал гудок и понял, что коллеги моего отца сигналият ему с улицы. Я так увлекся статьей, что даже забыл про завтрак. Выпрыгнув из постели, я натянул халат и поспешил вниз с «Нью-Йоркером» в руке.

— Доброе утро, сынок. Чем сегодня планируешь заняться? — спросил отец.

Он стоял передо мной в рубашке с короткими рукавами, перекинув пиджак через согнутую в локте руку. Зловещая жара явно предвещала невыносимо душный южный день, который пока только копит силы, собирая обла-

ка пара. Над гаванью царило полное безветрие. Парочка электрических вентиляторов гоняла теплый воздух по передней. Пересмешник в ветвях акации завел вялую трель, словно уже обессиленный жарой.

— Думаю, пойду в библиотеку, — соврал я, точно зная, что скорее всего буду в другом месте. — Я еще не одолел всего Синклера Льюиса.

— Ну тогда до вечера, — ответил он. — Пообедаешь в городе?

Это был намек, что меня, как обычно, к обеду не ждут. Многие служащие по старой традиции брезговали грязными забегаловками в городе и на ланч возвращались домой. Хотя на поездку уходило по меньшей мере пятнадцать минут в один конец, либеральная политика руководства верфи предусматривала полуторачасовой обеденный перерыв, и поэтому у отца была возможность обедать в спокойной обстановке, дома с Изабель. Южане, выросшие в маленьких городках, вообще недолюбливают рестораны, и традиция домашних обедов (утраченная на варварском Севере) еще долго сохранялась в таких местах, как, например, Франция. Впрочем, отец догадывался, что я не желаю делить с ним это удовольствие. Учитывая наши с Изабель натянутые отношения, нам было трудно не ссориться за столом, и если завтрак с ужином мы кое-как преодолевали, то с обедом бы уже не справились. На самом деле меня пугало, что

завтракать теперь придется в компании Изабель без сдерживающего влияния отца.

— Ну, хорошего тебе дня, сынок, — сказал он и порывисто обнял меня одной рукой, как часто теперь делал. Я просто физически почувствовал, что мне передается его любовь. Иногда мне казалось, что отец тоже все еще пребывает в состоянии легкого шока от того, что я вернулся с Тихого океана живой и здоровый. И это несмотря на твердую веру, что Бог сохранит меня. Ведь я был его единственным «корнем и потомком», как он говорил, прибегая к библейской аллюзии. Отец усердно молился о моем спасении. В письмах на Сайпан он писал, что уверен в моем благополучном возвращении, проявляя тем самым куда больше веры в божественный Промысел, чем я. Еще свежа была боль от недавней смерти жены, и, потеряй он еще и сына, ему бы никогда не оправиться от такого удара. Теперь он обнимал меня с особенным чувством, и я обнял его в ответ. Потом я смотрел, как он спускается по ступенькам к своим коллегам — счетоводам, труженикам логарифмической линейки и арифмометра, благодаря которым стало возможно создание таких морских левиафанов, как «Йорктаун» и «Энтерпрайз»* — нашего главного козыря в борьбе с желтой угрозой.

* «Йорктаун», «Энтерпрайз» — авианосцы военно-морского флота США.

Я на минуту задумался об арифмометрах и вспомнил, как преданно отец любил свое дело; иногда он даже приходил в конструкторское бюро по выходным и брал меня с собой. В одиннадцать лет я был в восторге от его работы. Конструкторское бюро занимало просторное помещение со сводчатыми потолками на третьем этаже конторского здания, и из его окон открывался вид на бесконечный индустриальный пейзаж. В будни верфь бурлила, кипела, роилась тысячами белых и черных рабочих, которые в силу привычки или от равнодушия не обращали внимания на нечеловеческий шум. Из машинного и литейного цехов доносилось громкое звяканье; то тут, то там мелькали вспышки сварки, внутренности ангаров изрыгали какой-то непонятный стук и грохот, а краны, парившие высоко в небе, где смутно виднелись силуэты исполинских кораблей, время от времени издавали пронзительные крики. Паровозы сновали взад-вперед, волоча за собою грузовые вагоны; их гудки еще больше усиливали адский грохот. Однако в выходные работы приостанавливались, верфь замирала, словно охваченная оцепенением; в воскресном безмолвии я слышал только щелканье арифмометра, и меня слегка мутило от беспредметного ужаса.

Откуда взялись тревога и беспокойство? Несомненно, виной тому контраст между сумасшедшим ритмом будней и тишиной вос-

кресного дня. Однако сказывалось и само место: мрачные, уходящие вдаль ряды столов, и на каждом — настольная лампа с гусиной шеей, массивная пишущая машинка «Ундервуд» и арифмометр Берроуза. Я тогда еще не слышал о Кафке, «Новых временах» Чарли Чаплина или о сюрреалистических видениях Карела Чапека, но в привычном обиталище отца отчетливо чувствовал гнетущую атмосферу механистичности. Арифмометры разом внушали мне отвращение и завораживали: я мог часами бессмысленно стучать по клавишам, а в это время отцовский аппарат продолжал выцелкивать свои бесконечные вычисления. Я бродил по этажу, заглядывая в другие комнаты с такими же рядами одинаковых столов, настольных ламп с гусиными шеями и арифмометров Берроуза. В мрачном и гулком туалете я вставал рядом со стандартными писсуарами из монументального фаянса; закрыв глаза, вдыхал камфорный запах дезодоранта, прислушивался к журчанию воды. Как я здесь оказался? — спрашивал я себя в экзистенциальном ужасе. Вернувшись, я заставал отца согнувшимся за машинкой, из которой выползала длинная бумажная лента, свисавшая до самого пола. Из окна открывался вид на залитое солнцем бесконечное пространство верфи, огромные груды листового металла, замершие литейные цеха и мастерские, а где-то вдали вырисовывались корпуса недостроенных судов и резные силуэты

кранов, похожие на доисторических птиц из «Книги знаний». От этого зрелища меня переполняло чувство собственной ничтожности, и я в который раз задумывался о том, как же мой отец связан с величественными сооружениями за окном. В глубине души я мечтал, чтобы он, к примеру, оказался оператором одного из этих потрясающих кранов.

В этом месяце исполнится тридцать лет с того дня, как мой отец начал работать на верфи. Он всегда гордился тем, что внес, как он выражался, свою лепту в нашу победу. Из открытого окна машины до меня донесся отцовский смех, а затем на высокой ноте: «Нет! Нет!» — в ответ на веселое подшучивание коллег, которым они встречали его каждое утро. На сердце у меня опять потеплело, хоть я и немного нервничал перед общением с Изабель.

Из пластиковой глотки радиоприемника, примостившегося на полочке в «кухонном уголке», донеслось приглушенное кудахта-ние утренних известий. Местная радиостанция называлась «ВГМ» — «Величайшая гавань мира» и передавала в основном новости штата. Мы с Изабель обменялись преувеличенно вежливыми приветствиями. Все ее внимание было сосредоточено на французском гренке, который она, очевидно, собиралась подать к столу. Я заметил, что сегодня очень жарко. Изабель ответила, что прогноз обещает девяносто пять градусов. Я заговорил

о влажности: главная проблема — высокая влажность. Изабель согласилась, что в сухом климате, например в Аризоне, девяносто пять градусов переносятся гораздо легче. Даже сто, вставил я. Пока мы так беседовали, я не мог не вспомнить один климатологический факт, который мой отец, всегда интересовавшийся экологической информацией, любил повторять во время таких вот периодов жары: наш район, юго-восточная Виргиния, неразрывно связан с глубоким югом, только у нас сильнее сказывается влияние Гольфстрима. Поэтому, объяснял он, в нашем климате хорошо себя чувствуют хлопок и магнолия и даже водятся такие змеи, как водяной щитомордник.

— Приятного аппетита, — произнесла Изабель с почти что искренним дружелюбием, выкладывая французский гренок мне на тарелку и почти одновременно наливая кофе. Доброе отношение меня очень порадовало. Может, мы научимся мирно сосуществовать или по крайней мере не разжигать страсти, провоцируя изматывающий конфликт. Тем не менее я испытал заметное облегчение, заметив, что мачеха уже позавтракала и застойной беседы не предвидится.

Она взялась за мытье посуды, а я — за французский гренок. («Очень вкусно, Изабель!» — воскликнул я, добавив в голос нотку сердечности.) Я уже было собрался снова открыть «Нью-йоркер», когда услышал по радио имя,

которое заставило меня замереть в оцепенении. Букер Мейсон. Дикторский голос объявил, что Верховный суд США отклонил апелляцию Букера Мейсона, осужденного на смертную казнь за изнасилование, и сегодня в одиннадцать часов приговор будет приведен в исполнение. Ричмондская тюрьма получила прозвище «Стена», и по радио так ее и называли. Я отложил вилку и уставился на радиоприемник. Про Брукера Мейсона много писали в местной прессе. Его судьба мало чем отличалась от судеб тех бесчисленных негров, которые перед войной отправились в последний путь в ричмондской тюрьме. Обычно за завтраком, уплетая кукурузные хлопья, я с болезненным интересом просматривал до обидного короткие судебные репортажи. Случалось, что казнили белого человека, но чаще всего преступник оказывался чернокожим. Я привык к этим мрачным отчетам, с замиранием сердца читал о таких мелких деталях, как последний ужин (обычно это была типичная негритянская еда: жареная курица или свиные ребра с баночкой кока-колы или «Доктора Пеппера»), и последние слова («Скажите маме, я ушел к Иисусу»). Я никогда особо не задумывался, допустимо ли казнить людей на электрическом стуле. Горячим сторонником смертной казни я не был, но, воспитанный в пресвитерианстве, сохранил остатки ветхозаветной мстительности, и потому ужас-

ный разряд в две тысячи вольт представлялся мне справедливым и правильным решением.

Сейчас меня волновал аспект, который раньше не приходил в голову: осужденный не был убийцей. Даже государство с этим соглашалось. Мейсон должен был заплатить жизнью не за чью-то отнятую жизнь, а за сексуальное насилие над женщиной. Это, разумеется, ужасное преступление, оно несет с собой боль и унижение и, конечно же, вызывает справедливое общественное негодование. Кара за него должна быть строгой, особенно в таком забытом Богом уголке черного пояса, как округ Сассекс, где Мейсон его и совершил. В тех краях Старого доминиона* негры вели себя тише воды ниже травы. В деле не было никаких смягчающих обстоятельств: Мейсон, сельскохозяйственный рабочий двадцати двух лет от роду, обвинявшийся в «преступном посягательстве» (репортерский эвфемизм для изнасилования), не только признал свою вину, но и открыто заявил, что хотел таким образом отомстить за прошлые унижения и издевательства. Его жертва, сорокалетняя домохозяйка, которая к тому же была его работодателем, не получила никаких телесных повреждений, если не считать самого изнасилования: она заявила в суде, что от страха не оказала сопротивления. Защита даже не пыталась выдвинуть предположение,

* Старый доминион — одно из названий штата Виргиния.

будто она его соблазнила, поскольку признание Мейсона полностью исключало подобную тактику. Он просто хладнокровно насильствовал ее несколько часов подряд. Это был тот случай, когда даже лишенный расовых предрассудков белый — которому противно смотреть, как казнят очередного чернокожего, несмотря на явную невиновность или по крайней мере недоказанность вины, — мог с легким сердцем признать: негр виновен, он вполне заслужил путешествие в вечность, туда ему и дорога.

Однако я никак не мог успокоиться, и поэтому с языка у меня сорвалось:

— Господи! Его казнят, хоть он никого и не убивал.

В следующую же секунду я пожалел, что вовремя не сдержался, потому что Изабель резко ответила с кухни:

— Да за такое электрического стула мало! Он убил ее душу!

Затылок у меня заныл от дурного предчувствия. Во время наших споров — некоторые из них едва не перерастали в открытую схватку — я всегда пытался следить за тональностью ее голоса, зная по опыту, что легкое изменение тембра может означать внезапную враждебность, не связанную с обсуждаемым предметом. Слегка обеспокоенный, я прислушался к этому тону сейчас: совсем не хотелось, чтобы дискуссия переросла в ссору. Реплика Изабель показалась мне вполне нейт-

ральной, разговор можно было не продолжать, и все же я колебался, с удовольствием прихлебывая вкусный крепкий кофе, подслащенный кленовым сиропом. Здорово, подумал я, еще раз мысленно простившись с клейким яичным порошком, которым кормили в Корпусе морской пехоты. Меня охватила волна утренней эйфории — ссориться не хотелось. Я решил не упоминать больше Букера Мейсона. Сквозь шум электрического вентилятора хорошо поставленный дикторский голос бубнил новости порта: какие суда прибыли в Величайшую гавань мира и какие ее покинули. Пароход «Генерал Генри Макинтош» с разнородным грузом направляется в Буэнос-Айрес, пароход «Рио Дуэро» с грузом фаянса и пробкового дерева прибыл из Лиссабона, пароход «Фэйрвезер» с грузом зерна и табака направляется в Роттердам, пароход «Уорлд симастер» с грузом угля направляется в Гавр. Липкими от сиропа пальцами я снова взялся за «Нью-йоркер» и открыл на рассказе миссис Накамуры, и тут Изабель продолжила:

— Прежде чем казнить, этому ниггеру надо вставить в одно место горячую кочергу, чтобы он понял, каково было бедной женщине.

— Я тебя умоляю, Изабель, — вырвалось у меня, — вот только этого не надо. Ниггер, конечно, скотина. Можно упрятать его до конца жизни за решетку. Однако давай посмотрим правде глаза. Да, женщину изнасиловали, это ужасно, но она осталась жива!

(Я сказал «ниггер» не для того, чтобы предразнить Изабель, просто, как большинство южан, привык к такому произношению и не вкладывал в него никакого дополнительного смысла. Изабель тоже была слишком хорошо воспитана, чтобы произнести вслух слово «негр» — самое сильное ругательство из всех существующих в языке.)

— Я в принципе не против электрического стула, — продолжил я. — Иногда это бывает необходимо. Но убивать человека за изнасилование — это варварство!

— Ты мужчина, — ответила она горько. — Тебе не понять, какая это травма и для тела, и для души. Она, быть может, до конца жизни не оправится.

Я не стал говорить, что мужчину тоже можно изнасиловать, ведь Изабель как медсестра с опытом работы в «скорой помощи» сама должна была про это знать. Неожиданно для самого себя я произнес раздраженно:

— Ты имеешь в виду участь худшую, чем смерть?

Я немного помолчал, чтобы избитая фраза запала в ее сознание, и одновременно почувствовал, что Изабель тоже взволнована. Она остановилась, так и не вытерев до конца посуду, пальцы у нее дрожали, а широкое, неправильной формы лицо пошло пятнами. Я попытался хоть немного ее умаслить.

— Ты же образованная женщина. Тебе не пристало придерживать подобных взглядов.

Она уже совсем было открыла рот, чтобы ответить, но замерла, прислушиваясь к радиоприемнику. Передавали сводку последних известий. Букер Мейсон был обречен. Используя все средства для апелляции, адвокат осужденного — он разговаривал с прессой, стоя на ступенях ричмондского Капитолия, — призвал законодателей штата воспользоваться трагедией Букера Мейсона как поводом для отмены бесчеловечного закона, противоречащего принципам справедливости, провозглашенным такими великими сынами Виргинии как Патрик Генри, Томас Джефферсон и Джеймс Медисон...

— Какую чушь несет этот маленький нью-йоркский еврейчик, — раздраженно отреагировала она. — Ему просто нравится быть в центре внимания.

Ее замечание вовсе не было антисемитским, как могло показаться на первый взгляд, — просто Изабель, типичная южанка из хорошей семьи, полностью разделяла взгляды своего круга. Нельзя сказать, что моя мачеха недолюбливала евреев, нет, просто она горячо любила все, что не имело никакого отношения к евреям, зато имело отношение к ней самой: женский колледж Рэндольф-Мейкон (куда принимали только англосаксов), Епископальную церковь и виргинский садоводческий клуб. Прямо скажем, совсем не еврейские организации. Впрочем, если отдать ей должное (что я честно старался делать при

каждом удобном случае), Изабель тепло отзывалась о местных евреях, чьи имена всплывали за обеденным столом. Она была ревностной прихожанкой и не пропускала ни одной проповеди. Может, южные баптисты и тому подобные секты, состоящие из низших слоев общества, и воспитывали антисемитов, но благородная Епископальная церковь Изабель не опускалась до такой вульгарности. Фраза «нью-йоркский еврейчик» скорее говорила о неведении, чем о нетерпимости: «маленький нью-йоркский еврейчик», Лу Рабиновиц, чью фотографию в газете мачеха, в отличие от меня, явно не видела, на самом деле был больше шести футов ростом и как гора возвышался над своим щедушным клиентом Букером Мейсоном, чье дело Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения решила использовать как повод для внесения изменений в Конституцию. Лу Рабиновиц с его модным плащом, шейным платком и профилем Джона Берримора* действительно любил быть в центре внимания, но мне он нравился и я следил за ним в новостях. Из его выступлений я понял, что Рабиновиц намерен перевернуть вверх дном всю юридическую систему Виргинии.

— Это не чужь, — ответил я, может, чуть громче, чем следовало. — И что с того, что он

* Берримор Джон — американский актер, за благородную, мужественную красоту получил кличку «Великий профиль».

любит быть в центре внимания? Он ведь пытается втащить этот тупой штат в двадцатый век!

Рабиновиц так и сыпал статистическими данными, поэтому все аргументы были у меня под рукой.

— А ты знаешь, Изабель, лишь в пяти штатах, включая Виргинию, предусмотрена смертная казнь за изнасилование! И за все эти годы в Виргинии четыреста семьдесят пять белых осудили за изнасилование и ни одного не казнили, а сорок восемь цветных насильников отправились на электрический стул! Какое тут, в жопу, правосудие!

— Придержи язык!

— Прошу прощения! — спохватился я.

В морской пехоте я настолько привык к непристойностям, что мне уже трудно было сдерживаться.

— Извини, но, мне кажется, ты не понимаешь. Смертная казнь за изнасилование — это просто средневековье какое-то!

На лице у нее появилось так хорошо известное мне выражение терпеливого страдания. Обычно дальше следовал комментарий, призванный возвысить ее в глазах окружающих.

— Вообще-то я всегда нормально относилась к нигтерам. Большинство санитаров, работавшие вместе со мной в больнице, были трудолюбивыми, ответственными людьми, и я неизменно удостаивала их своим доверием. («Удостаивала своим доверием». Боже мой!)

Но не следует забывать, что здесь, на Юге, ниггерам свойственно желание обладать белыми женщинами...

— Ах оставь, ради Бога! — вмешался я, сознавая, что ситуация выходит из-под контроля. Из рта у меня вылетел кусок гренка. Остановиться я уже не мог, хоть и понимал, что мы вот-вот вопьемся друг другу в глотку. Я отшвырнул салфетку и вскочил, перевернув при этом свой кофе и баночку с сиропом: темная мерзкая жижа разлилась по всему столу. — Слышать этого не могу! На Юге каждая безмозглая блондинка уверена, что за углом притаился черный злодей, мечтающий ее трахнуть!

Я почти сразу осознал, что нужно спасти положение. Сердце бешено колотилось. В конце концов, это я завелся, потерял самообладание, и поле боя осталось за ней. Теперь надо было идти извиняться, и чем скорее, тем лучше. Развернувшись, я возвратился к столу, пробормотал извинения и неловко помог Изабель навести порядок.

— Давай оставим эту тему, Пол, — обронила она.

Я уселся на свое место и, мрачно жуя, погружился в чтение. Да, я сорвался. Но никто из нас не заработал важных очков. Все, как обычно, закончилось вничью.

Молча, с немного натужной готовностью, Изабель снова налила мне кофе. Я взял чашку одной рукой, а другой прижал к столу «Нью-

йоркер» и погрузился в чтение. В статье речь шла о том, что пережили доктор Фудзи, отец Клейнзорге и мисс Тосико Сасаки в первые часы после бомбардировки:

«Потолок внезапно упал и деревянный пол под ногами разлетелся в щепки, сверху попадали люди, крыша обвалилась; но, главное, в первый же момент книжные шкафы сдвинулись с места, и на нее обрушилось все их содержимое. Ее левая нога подвернулась, и она упала на пол. Так, в самом начале атомной эры, человек лежал на полу, раздавленный грудями книг».

На этом кончалась первая глава. Чтение произвело на меня сильное впечатление. Херси писал просто, без лишнего пафоса, но его сдержанность настолько завораживала, что я с трудом оторвался от журнала, сказав себе, что у меня еще будет время дочитать до конца. Поднявшись, я поблагодарил Изабель — у меня получилось преувеличенно вежливо, на грани пародии, — и снова отправился на крыльцо. В воздухе не проносилось ни единого дуновения, как в жерле раскаленной печи. Обширное пространство гавани затянуло колеблющимся облаком горячего тумана. По каналу в сторону моря медленно ползли пять или шесть грузовых судов и танкеров, казавшихся с такого расстояния маленькими, словно игрушечными. Далеко за ними вид-

нелся линкор и смутно маячили силуэты двух крейсеров, стоявших на якоре в тихих водах военной базы. Тот, что побольше, с выступающими корабельными орудиями, походил на «Миссури»*. Статья Херси взволновала меня, разбредила старые воспоминания, и тут мне в голову пришла странная мысль: меньше года назад, через месяц после того, как потолок упал на мисс Тосико Сасаки, два ее миниатюрных соотечественника, в своих несуразных цилиндрах и фраках больше похожие на гробовщиков, чем на дипломатов, стоя на палубе этого самого корабля — видневшегося у меня на горизонте линкора «Миссури», — подписали бумаги, подводящие итог войне, которая едва не подвела итог жизни Пола Уайтхерста.

Я вдруг вспомнил, как страшно мне было на Сайпане. В памяти всплыла лагуна и потрясающие закаты над Филиппинским морем. Спустя год после высадки американского десанта берег по-прежнему усеивали куски искореженного металла, хотя между скалами и обломками всегда можно было отыскать хорошее место для купания. Наш лагерь располагался рядом с грязной дорогой, которую «морские пчелы»** проложили через кораллы,

* «Миссури» — линкор ВМФ США, на борту которого 2 сентября 1945 г. был подписан акт о капитуляции Японии.

** «Морские пчелы» — прозвище инженерно-строительных частей ВМС США.

когда морпехи очистили остров от японцев, за несколько месяцев до нашего прибытия на остров. На северо-востоке, в тысяче миль от нас, лежала Окинава, и огромные санитарные корабли с такими говорящими названиями, как «Покой» и «Милосердие», доставляли оттуда раненых в расположенные чуть дальше по побережью военные госпитали. День и ночь вдоль по дороге шел поток санитарных машин с грузом тяжелораненых, парализованных, лишившихся рук и ног и прочих увечных с поля колоссальной битвы.

Я только чудом опоздал на войну. В апреле, когда шла высадка, наша дивизия была занята в диверсионной операции на юго-восточном побережье. Мы отвлекли внимание японцев, а в это время две другие дивизии (не встретив сопротивления) высадились на западе. Затем мы вернулись в американские владения — на спокойный, безопасный Сайпан. Тогда-то у меня в душе возникло мучительное внутреннее раздвоение. Воинственный, самоуверенный мальчишка, который пошел в морскую пехоту за славой и приключениями, сожалел о том, что не увидел настоящего сражения, а более разумный взрослый невольно радовался этой отсрочке. И это была всего лишь отсрочка. Мы все знали, что предстоит вторжение в Японию, и уже не с отвлекающими маневрами. Мы будем в первых рядах. Первый раз в жизни я был по-настоящему напуган. И стыдился своего страха.

По вечерам, усталые — день проходил в непрерывных учениях, — мы стояли у входа в палатки и сквозь пелену голубоватого сигаретного дыма смотрели на парад санитарных машин, провожая пыльные фургоны неотрывным взглядом. Мой «Карманный поэтический сборник», который я таскал в вещевом мешке, пока служил в морской пехоте — с офицерских курсов в университете Дьюка, в учебный лагерь Пэррис-Айленд, на Гавайи и, наконец, на Сайпан, — распух от влажности и почти развалился, но каждый вечер, лежа на койке, я перечитывал Альфреда Хаусмана, Суинберна, Омара Хайяма или какого-нибудь другого мечтательного фаталиста, певца мировой скорби. В синеве тропических сумерек из репродуктора доносились звуки «Лунной серенады» Гленна Миллера или песенок Томми Дорси, и моя грудь сжималась от надрывной, безнадежной тоски по дому.

Санитарные машины сводили меня с ума. Смотреть на этот поток было страшно, оторваться не было сил. У небольшого холма зеленым фургонам приходилось сбавлять ход и, дребезжа, медленно сползать вниз. Поначалу машины проезжали этот участок относительно спокойно, но скоро дорога стала совершенно разбитой. Помню, один фургон застрял, а потом стал дергаться взад и вперед, тряся несчастного пассажира. «Господи! О Господи!» — доносилось изнутри снова и снова. Мне не раз приходилось слышать по-

добные крики. Поэзия в таких случаях не помогает: я закрывал книгу и лежал в немом трансе, стараясь выкинуть из головы все мысли о прошлом и будущем, не думать ни о чем, кроме фанерного настила палатки, по которому обычно ползла какая-нибудь зеленоватая улитка (а то и несколько), оставляя за собой желтовато-белую слизь, цветом и консистенцией похожую на сперму. Гигантские африканские улитки водились на острове в огромных количествах, словно вторая армия; они будили нас по ночам: было слышно, как они с шуршанием движутся по полу, а когда они сталкивались, раздавался крохотный хлопок, словно с треском раскалывался грецкий орех.

Чертовы улитки вечно попадали под ноги, пачкая ботинки липкой слизью, которая напоминала мне о бренности собственного тела. Современным средствам ведения войны ничего не стоит превратить человека в подобную омерзительную эмульсию. Может, и от меня скоро останется лишь кучка слизи? Рядовой из моего взвода, здоровенный деревенский парень из Южной Дакоты, видел на Тарава* растянутую вдоль берега человеческую кишку длиной двадцать фугов. Это были внутренности его лучшего друга, который всего

*Тарава — атолл в архипелаге Гилберта. Во время Второй мировой войны на Таравае произошло одно из самых кровопролитных сражений на Тихом океане.

за пару секунд до взрыва минометного снаряда лежал рядом с ним. Почти каждый ветеран пережил нечто подобное. Во время прошлогодней высадки на Сайпане сержант моего взвода — акробат на трапеции, до войны выступавший в цирке братьев Ринглинг, Барнума и Бейли, — отделался лишь рассеченной губой и контузией, в то время как двух его соседей по стрелковому окопу разорвало на куски. Останусь ли я в живых, как он, или, едва спрыгнув на японский берег, буду так или иначе принесен в жертву: сожжен, разорван снарядом или раздавлен, как улитка?

Глядя на далекий силуэт «Миссури», я вспомнил ту душную палатку. Мысли о смерти были мучительны. «Карманный поэтический сборник» падал из рук, и страх — жестокий, холодный страх — наполнял мое тело непонятной слабостью. У меня немели конечности и кровь отливала от пальцев, мне было страшно и стыдно одновременно. Не знаю, испытывали ли мои соседи по палатке, командиры взводов Стайлс и Винерис, чьи койки стояли почти вплотную с моей, подобные чувства. Холодели ли у них кишки при мысли о предстоящем вторжении? Я знал, они боятся. Мы шутили, Боже, как мы шутили! Мы постоянно зубоскалили на тему предстоящего испытания, но то был специфический юмор, бравада, дешевые шутки. Я так и не узнал глубины их страха. В эти области я старался не заглядывать. В нашей душной палатке мы делили

все остальное: храп, пердеж, запах изо рта и вонючие носки. Даже попытки подрочить, не привлекая внимания, становились поводом для шуток. Мы потешались над вырвавшимся стоном, над простыней, предательски блеснувшей в утреннем свете. «Опять ты там шишку полируешь, Винерис!» Но откуда-то я знал, что мы не можем делить настоящий страх. Он укутывал меня одеялом, сотканным из множества липких ладоней. Неужели и они испытывали нечто подобное? Или мне просто не хватало того настоящего мужества, которое позволяло им держать себя в узде?

Я часто думал, как мерзко испытывать подобный страх в таком чудесном месте. Сайпан был прекрасен, как чашка тропического желе. Даже в дождливый сезон случались солнечные дни, и тогда мне было особенно жалко, что красота этого кинематографического пейзажа безжалостно истоптана сотнями солдатских ботинок, изрыта воронками снарядов и гусеницами танков. Большая часть островов, на которых велись бои, — либо густые джунгли, где кишмя кишит всякая зараза, либо выжженные солнцем коралловые рифы, не представляющие никакой ценности. В стратегическом плане захватывать их вряд ли имело смысл, и уж тем более не стоило платить за них жизнью тысяч американских солдат. Но Сайпан был — не побоюсь этого слова — пленителен. Из зарослей гибискуса, коралловых деревьев и бугенвиллей

легкий ветерок доносил пьянящий экзотический аромат, и я представлял себе, как в мирное время самолеты «Пан-Американ» будут доставлять сюда молодоженов, изнывающих от желания поскорее улечься в койку. На том самом месте, где был лагерь нашей роты, их будут ждать шикарные хижины, крытые пальмовыми листьями. Господи, думал я, они будут заниматься сексом в прохладном кондиционированном воздухе. Иногда по утрам, до подъема, я лежал в палатке, вдыхая цветочный воздух как сладчайший афродизиак. Я отдавался во власть непристойных фантазий, даривших мне короткие мгновения блаженства и заставлявших забыть страх. Это помогало — правда, ненадолго. Достигнув высшей точки сексуального наслаждения, я мог какое-то время не думать о будущем, и сердце мое не сжималось от ужаса и тоски.

Ближе к концу июля поток санитарных машин уменьшился до одной-двух за несколько часов, а потом и вовсе иссяк — верный знак того, что битва за Окинаву стала теперь историей. Однако не только санитарные машины напоминали о смерти, были и другие пугающие приметы. В лагере пошли слухи, подкрепляемые передачами военного радио, что в Японии гражданское население намерено сражаться наравне с солдатами: вооружаются даже старики, женщины и подростки. Поражение на Окинаве не сломило нацию, а, наоборот, усилило ее боевой дух, и теперь

они готовы драться даже самым примитивным оружием. Как-то утром, вскоре после того как я услышал эту диковатую новость, мне приснился один из тех парализующих ночных кошмаров, от которых просыпаешься в холодном поту. Сон был отчетливо ясным, как документальная хроника. Я веду взвод по какому-то пригороду Осаки, мы пробираемся от дома к дому сквозь облака пыли. Вдруг ко мне подбегает маленькая женщина в кимоно с высокой прической, скрепленной какими-то штуковинами из слоновой кости, кричит «банзай» и уже почти протыкает меня бамбуковой палкой, но в последний момент превращается в маленькую болтливую маникюршу, которая сосредоточенно обрабатывает мне ногти.

Однажды вечером всем офицерам приказали собраться в огромном амфитеатре на дальнем конце берега. Такого собрания офицеров никогда раньше не проводили. Сразу же пошел слух, что нам объявят о предстоящем вторжении, хотя точно никто ничего сказать не мог. Сразу после ужина, около шести часов, я шел вместе со Стайлсом и Винерисом по тропинке сквозь заросли кустистых панданов, окружавших лагуну, а потом по пляжу — длинной полоске мелкого песка, уже очищенного от оставшегося после высадки мусора. Я проходил этим путем много раз, и поэтому не обращал внимание на огромный плакат — творение какого-то морпеха, кото-

рый в мирное время работал карикатуристом. На плакате была изображена очкастая узкоглазая крыса с глупой ухмылкой, обозначающая японского солдата. «ЗНАЙ СВОЕГО ВРАГА» — гласила подпись под омерзительной фигурой в гнусного вида кепчонке, с огромными зубами, водянистыми розовыми глазками, длинным розовым хвостом и продолговатым, тоже розовым, членом, зажатым в волосатой лапе. (Эта деталь была изображена так искусно, что не сразу бросалась в глаза.) Главный юмор плаката, доходивший обычно не сразу, как раз и заключался в этой последней детали. Особенно она веселила ветеранов, прошедших мясорубку Гуадалканала и Таравы, — их ненависть к японцам граничила с вожделением. По существующей у морпехов традиции уродовать названия красивых мест, в которые они приходили, эту часть берега переименовали в «Крысиную бухту». Пока мы шли по ней в молчании, я подумал, что, наверное, каждого из нас терзают ужасные предчувствия: ведь мы понимали, о чем услышим.

Наконец Стайлс заговорил:

— О Господи. Надеюсь, это оно. Еще немного, и мы тут все рехнемся в ожидании.

Винерис поддержал его:

— Думаю, нам сообщат дату высадки. Черт, надеюсь, что уже скоро.

Я не сказал ни слова, поскольку у меня не осталось никакой надежды. «О Господи, —

подумал я, — надеюсь, что никогда». У меня не получалось даже изобразить беззаботную реплику, и я почувствовал укол зависти. Я вообще завидовал Стайлсу и Винерису: они оба были мускулистыми атлетами и запросто справлялись с заданиями, которые мне давались с большим трудом, — быстро разбирали и собирали винтовку, оборудовали огневую позицию, быстро определяли сектор обстрела, ориентировались по компасу, проводили осмотр оружия; даже полевая форма у них всегда была свежая и чистая. Я был не самым плохим командиром взвода, прямо скажем, не хуже многих, просто потому, что боялся опозориться, но многие моменты военной подготовки, не представлявшие для большинства лейтенантов ни малейшей сложности, вытягивали из меня все жилы. Я считал за счастье быть среди середнячков и радовался, что такие парни держат меня за своего. В колледже я не пользовался особой популярностью: я был эстетом, которого интересует только хорошая литература и камерная музыка, да еще и немного «психованным» в придачу. Что касается моих соседей по палатке, оба были выдающимися спортсменами: светловолосый Стайлс — член сборной Йельского университета по плаванию, а грек Винерис с гладкой смуглой кожей — футболист, игравший в высшей лиге. При такой внешности и дарованиях они, конечно же, пользовались у солдат непререкаемым авторитетом, а я, тощий и не-

складный, в присутствии подчиненных не смел даже в руки взять такие «девчачьи» книжки, как «Карманный поэтический сборник».

В окруженном пальмовыми зарослями амфитеатре уже собралось множество офицеров из нашей дивизии: не только морпехи, но также моряки и пехота. На прошлой неделе тут выступал Боб Хоуп, а неделей раньше мы целый вечер слушали здесь биг-бэнд Кея Кайзера, с Иш Кэбибл и Ви Бонни Бэйкер, чей детский голосок завораживал меня, когда я был подростком. Два часа выступления Кея Кайзера стали настоящим мучением, а вот про Боба Хоупа такого не скажешь. Он был невероятно остроумен и привез с собой труппу девушек — прелестных длинноногих созданий в перьях и крошечных трусиках. Они крутили голыми попками под одобрительный рев обезумевшей толпы. Еще одно сюрреалистическое измерение этой гнусной тихоокеанской кампании: хорошенькие цыпочки выходили из огромных транспортных самолетов, сверкали белозубыми улыбками, виляли задом и почти сразу же снова грузились в самолет и исчезали, оставляя позади себя тысячи несчастных, у которых сводило яйца от желания. Как заметил Стайлз, японцам в этом отношении было лучше: их снабжали девчонками, которых можно пощупать руками.

Мы ждали и ерзали, стараясь соблюдать приличия. Офицерам полагалось держаться

с достоинством, поэтому мы говорили почти что шепотом; только рядовые, когда им приходится чего-нибудь ждать, становятся шумными и возбужденными — им просительно. Я был не прав, когда думал, что научился подавлять страх. Пока мы сидели на жестких скамьях, меня снова охватило подавленное настроение, с которым я весь день боролся. Волны паники накатывали одна за другой. Я все время говорил себе: «Спокойно, расслабься, все будет хорошо». Тут я заметил на соседней скамье командира нашего батальона полковника Холлорана (у него было прозвище Счастливчик Холлоран), и его присутствие сразу же успокоило меня, как это часто случалось раньше. Все молодые офицеры хотели походить на Счастливчика Холлорана. Он говорил с преувеличенным ирландским акцентом, носил закрученные вверх усы и был прирожденным лидером, что позволяло ему добиваться беспрекословного подчинения, не теряя чувства локтя. Холлоран получил Военно-морской крест в сражении за Тараву, где, тяжело раненный, возглавил атаку на японский дот, поубивав множество солдат противника из их же собственного пулемета. В отличие от других родов войск в морской пехоте всегда водились колоритные персонажи и нонконформисты, и Счастливчик Холлоран был одним из них. Его любили за немного эксцентричную манеру и привычку поддразнивать начальство. Мы с ним случай-

но обменялись взглядами, и он мне подмигнул. У меня сразу же немного полегчало на сердце.

Наконец, уже после наступления темноты, зажглись яркие огни, на сцене появились высокопоставленные офицеры из штаба флота — прилетели с Гавайев — и стали произносить речи. И тут до нас постепенно дошло, что им просто нечего сказать. Ключевыми словами были «секретность» и «безопасность». Дата вторжения уже установлена, объявил один из полковников разведки, но по соображениям секретности ее не могут сообщить нам заранее. На сцену поднялся еще один офицер. Он заявил, что районы, где будет проводиться высадка, уже намечены, и сейчас побережье тщательно изучается с целью определение всех факторов, которые могут повлиять на ее успех, однако по соображениям секретности он не может сообщить нам ничего конкретного.

— Тогда какого черта мы тут сидим? — услышал я бормотание Счастливого Холлорана.

Затылок у него покраснел. Наш командир явно злился. Офицеры, сидевшие рядом с ним, сдавленно хохотнули. Капли дождя упали нам на лоб, пальмовые листья затрепетали под порывами ветра. И тем не менее на сцену вышел еще один офицер из Перл-Харбора, бригадный генерал, и его голос загрохотал из громкоговорителей:

— Джентльмены, мы столкнулись с интересным парадоксом. Естественно было бы ожидать, что после разгрома на Иводзиме и Окинаве моральный дух японцев будет сломлен, а материальные ресурсы истощены, что облегчит наше вторжение. Однако на самом деле — и данные нашей разведки ясно это показывают — японцы сейчас как никогда готовы сражаться до последнего человека и умереть за своего императора.

Он продолжал долдонить.

— Чуть ли не сдержался полковник Холлоран. — А то мы без него не знали, что этим гребаным японским макакам не терпится на тот свет?

Даже адмиралу, главной звезде этого вечера, было нечего сказать, кроме стандартного набора пропагандистских штампов. Большинство из нас, младших офицеров, первый раз в жизни видели настоящего адмирала. Его фамилия была Крус. На нем была полевая форма, под воротником сверкали серебряные звезды. Он прошествовал на сцену, залитую ярким светом прожекторов, с пенковой трубкой в зубах, зажав в руке пачку бумаги. Угловатый адмирал по виду смахивал на университетского профессора: толстые стекла очков в проволочной оправе увеличивали глаза до невероятных размеров и делали его похожим на сову. Боевые походы остались у него в далеком прошлом, а сюда он прибыл с пропагандистской миссией — вдохнуть в нас на-

дежду и повесить боевой дух. Увидав его, Счастливирик Холлоран весело хмыкнул и стукнул кулаком по ладони:

— Ба! Да это же Крус Хорошие Новости! — радостно сообщил он всем сидевшим поблизости. — Сейчас этот пустозвон будет ссать нам в уши.

Тут адмирал заговорил:

— Хорошие новости, джентльмены! — приветствовал он нас.

Холлоран буркнул:

— Этот парень выступал у нас перед Таравой. Тогда он тоже говорил, что у него для нас хорошие новости. Мол, после бомбардировки с эсминцев высадка пройдет как по маслу. А оно вон как обернулось!

Дольше Холлоран мог не рассказывать. Катастрофа на Тараве уже стала легендой: военная разведка, полагаясь на устаревшие таблицы, чудовищно ошиблась в расчетах высоты прилива, и морским пехотинцам пришлось оставить транспортные суда у коралловых рифов и несколько сотен ярдов добираться до берега вброд под огнем японских пулеметов. Сражение за Тараву стало самой кровопролитной десантной операцией в военной истории. Баражки на волнах покраснели от крови убитых солдат. Неудивительно, что Холлоран был зол на весь флот в целом и на его представителя — в частности.

— Послушайте этого мерзавца, — сказал он.

— Джентльмены, новость и впрямь хорошая, — продолжал адмирал Крус. — Я собираюсь рассказать, каким образом наши корабли будут поддерживать вас во время высадки на побережье Японии. Конечно, морским пехотинцам нет равных в искусстве проведения десантных операций, но мы стараемся облегчить вашу задачу.

Он говорил почти час. Сказал, что в ходе этой войны мы увидели множество таких сложных и дерзких операций, как высадка десанта в Северной Африке, Нормандии, на Тараве, Пелелиу, Иводзиме и Окинаве, но предстоящая битва, вне всякого сомнения, затмит их своим масштабом, станет величайшей в истории войн. Далее он обрисовал, какая армада судов будет участвовать во вторжении: линкоры, крейсера, эсминцы, подводные лодки, а также титанический флот авианосцев с сотнями самолетов на борту, — такого количества кораблей, собранных в одном месте, человечество еще не видело. Он продолжал разливаться о тысячах тонн продовольствия и боеприпасов, которые будут доставляться грузовыми судами через весь Тихий океан из Калифорнии на Гавайи, Филиппины, Эспириту-Санто и Соломоновы острова. Впрочем, главным образом адмирал превозносил мощь оружейной поддержки, которая, как он сказал, взметнув к небу руку с зажатой в ней трубкой, затмит все известное ранее. Предварительная артподготовка с участием бомбарди-

ровщиков, базирующихся на авианосцах, в течение нескольких дней будет поливать побережье огнем такой интенсивности — он помедлил, подыскивая нужное слово, и затем произнес «такой колоссальной интенсивности», — что будут уничтожены не только японские оборонительные сооружения, но и сама земля, на которой они стоят. Более того, добавил адмирал, морским пехотинцам не следует беспокоиться относительно подводных препятствий, они будут заранее уничтожены командами морских диверсантов, которые очистят подходы к побережью.

— Не верю я этому недоумку, — почти вслух произнес Счастливчик Холлоран, как раз когда адмирал уже заканчивал свое монотонное перечисление тоннажа, человеко-часов, общей грузоподъемности и кубических ярдов. В воздухе ясно чувствовалось приближение тропического ливня. Над морем вспыхивали зеленоватые молнии, и доносился грохот грома. Полковник поднялся с места и принялся передразнивать адмирала, копируя его жесты, к вящему восторгу молодых офицеров вроде меня, которые благоговели перед бесшабашным вольнодумством Холлорана и его презрением к мелочным пустякам военной службы, равно как и перед умением добиться беспрекословного повиновения, когда ему это требовалось. Мало кто из старших офицеров умел так смешить своих людей, и если что-то и могло примирить меня с

наступлением дня Д, так это сознание, что на смерть меня поведет Счастливчик Холлоран.

Когда дошло до ответов на вопросы, адмирал, который оказался к тому же немного глуховат, приложив ладонь к уху, пытался разобрать вопрос Холлорана, заданный с задних рядов намеренно тихо, чтобы адмирал не расслышал. Из-под пышных усов полковника просвечивала злорадная усмешка. На мой взгляд, сравнение получилось очень правдоподобным:

— Известно ли вам, сэр, что вы мешок страусиного дерьма?

Это был на редкость опасный трюк: публично оскорблять контр-адмирала, даже в такой враждебной по отношению к флотскому начальству аудитории как морские пехотинцы. За такое нахальство полагалось суровое наказание. Однако Счастливчику Холлорану все сошло с рук: по рядам офицеров пробежал смешок, перешедший в дружный хохот, когда адмирал, который все никак не мог успокоиться, несколько раз переспросил:

— Что он сказал? Что он сказал?

В следующее мгновение налетевший с океана шквалистый ветер разметал бумаги и карты, перекрыв своим свирепым ревом общий шум.

Едва закончилось собрание, мы уже мчались со всех ног. Батальонные офицеры — восемнадцать — двадцать человек командиров взвода, и командиры рот, и майор по фа-

милиии Уильямс, заместитель командира батальона, — все мы на полной скорости мчались по вязкому песку Крысиной бухты, а дождь хлестал с такой силой, что вода заливалась в рот и почти ничего не было видно. Молнии сверкали над океаном и прилегающими джунглями. Мы неслись как сумасшедшие. Вокруг не было никого, кроме нас: только у нашего чудаковатого полковника хватило духу пустить своих офицеров в галоп после унылого собрания и изнурительного шестнадцатичасового дня. Среди нас, изнывавших от усталости, ловивших ртом воздух и захлебывавшихся дождем, не было ни одного, кто втайне не гордился бы тем, что мы испытываем нашу выносливость на последнем пределе. Ведь для того мы и пошли в морскую пехоту, чтобы терпеливо сносить эту муку. Довольные мазохисты, мы мчались по песку вслед за нашим предводителем, одетым в полевую форму, и тут он своим комическим, фальшивым баритоном внезапно запел гимн Корпуса морской пехоты, который мы все подхватили (или попытались подхватить) задыхающимися голосами. Это было освобождением, избавлением от демонов страха. Если все время двигаться, или, как это иногда случалось со мной в джунглях, сосредоточенно решать сложные тактические проблемы, или разбираться с оружием, я мог держать страх под контролем. Работа освобождала меня. И лишь

в минуты досуга на меня наваливался липкий страх.

Внезапно небо прояснилось и стала видна сверкающая полная луна. Мы словно выбежали из душного туннеля. Полковник бежал бы дальше и дальше, подумал я, если бы дорога не вела к высокому обрыву над морем. Однако здесь мы, совершенно измученные, прекратили наш спринт. Счастливчик Холлоран крикнул: «Вольно!» — и мы повалились на песок, не в силах вымолвить ни слова. Ни у кого не оказалось фляжек с водой, а пить хотелось просто невыносимо. Несмотря на дождь, мы все истекали потом. Полковник был так же вымотан, как и остальные. Я видел, как он, тяжело дыша, сидел на корточках у кромки прибора и плескал водой в лицо, чтобы немного остыть. Спустя какое-то время Холлоран поднялся на ноги и, когда мы тоже начали вставать, сделал нам знак оставаться на местах.

Он сказал: «Курительные лампы зажжены»*, — и большинство потянулось за сигаретами. Кто-то попытался найти сухие спички в глубине намокшего комбинезона. В темноте вспыхнули огоньки зажигалок. Несколько минут все молчали, сидя в клубах сизого дыма.

* На парусных кораблях разрешалось курить в строго определенном месте — у специальной курительной лампы. Подобные лампы давно вышли из употребления, но выражение сохранилось до сих пор как фигура речи, означающая «можно курить».

Мы понимали: сейчас полковник будет говорить. Подняв глаза, мы увидели, что на лице его больше нет клоунской маски. Счастливчик Холлоран глядел на нас с гневом и печалью. Он уже собирался что-то сказать, и тут мы услышали приближающийся с юга рев моторов. То была эскадрилья армейских бомбардировщиков с острова Тиниан. Земля дрожала, когда они с ревом набирали высоту и, накренившись, разворачивались в сторону Японии. Такие полеты назывались «служба доставки». Пока они пролетали над нами, мы смотрели снизу вверх на раздувшиеся от бомб трюмы, которые завтра будут разгружены где-нибудь над Кобе, или Йокогамой, или Токио. Шум был ужасный, но самолеты взмывали в небо с синхронной грацией, и, увидев их огромные силуэты на фоне луны, я думал о том, сколько смертей они несут в маленькие домики из бумаги и бамбука. Однако я тогда не особо расстраивался по этому поводу, поскольку заразился ненавистью к японцам. Едва бомбардировщики скрылись на севере, я был готов ловить каждое слово Счастливчика Холлорана.

— Никогда не верьте флотским, ребята, — сказал полковник. — Они предадут вас при первом же удобном случае. Перед высадкой на Иводзиму они сказали, что после артобстрела на острове не останется ни одной живой души. Даже крысы и муравьев. Но мы-то знаем, кто заплатил своей жизнью за их вра-

ные. Сколько храбрых морпехов погибло в тот день, да и в следующие тоже.

Он расхаживал между нами, легонько похлопывая нас по плечам и продолжая негромко говорить. Его голос был подернут грустью, которой я никогда за ним раньше не замечал, и в то же время в этом голосе звучала уверенность и сила. Речь полковника задела какую-то романтическую струнку в моей душе, и я представил себе короля Генриха V, обращающегося к своим лучникам в предрассветной темноте за несколько часов до битвы при Азенкуре*.

— Я буду краток, — сказал полковник. — Все устали, хотят пить, да и спать уже пора. Но я должен вам кое-что сказать. С вашей помощью, парни, мы сделали наш батальон лучшим в дивизии, а может, и во всем Корпусе морской пехоты. Ваши унтер-офицеры великолепны. Ваши солдаты прекрасно обучены, и, думаю, каждый командир батальона был бы счастлив вести вас в бой, когда придет решающий день.

* Битва при Азенкуре — сражение, состоявшееся 25 октября 1415 г. между французскими и английскими войсками близ местечка Азенкур в Северной Франции во время Столетней войны. Имевшая значительное численное превосходство французская армия потерпела сокрушительное поражение, понесла существенные потери. Обращение короля к солдатам перед этой битвой в пьесе Шекспира «Генрих V» — один из самых знаменитых монологов в английской литературе.

Он замолчал на минуту, потом продолжил:

— Но я не хочу морочить вам голову, как адмирал. Я скажу правду. Нам предстоит самое тяжелое сражение в истории морской пехоты, и нас бросят на самый опасный и трудный участок. Для вас это не новость. Вы и без меня прекрасно знаете, что мы были в резерве на Окинаве и проводили отвлекающий маневр, поэтому в день высадки в Японии будем в передовом отряде. Более того, парни: поскольку наш полк, и особенно этот батальон, так дьявольски хорош, мы первыми ступим на берег.

Я, как и все остальные, давно это знал или по крайней мере подозревал, но от слов полковника у меня все внутри перевернулось, словно я прочел свой смертный приговор. Другие лейтенанты устали в песок, обескураженные страшным смыслом этих слов.

— Япония сейчас — одна большая крепость, — продолжил он. — На Окинаве мы уже поняли: эти фанатики будут биться до конца. Несчастные ублюдки, я бы их и людьми-то не назвал, но они настоящие воины. Не знаю, где намечена высадка, только берега будут настолько неприступны, насколько это вообще возможно. Уже пристреляны пушки, которые разорвут нас на куски. И все же мы должны будем захватить плацдарм, хоть это и означает, что многим из нас не вернуться назад.

Счастливчик Холлоран прошел рядом, и его тень упала на меня, укрыв темнотой. Я

почувствовал на плече быстрое прикосновение его пальцев, как благословение, смягчившее, пусть на миг, мою тревогу.

— Мне больше нечего сказать, парни, кроме того, что я вами горжусь.

И помолчав немного, он добавил:

— Я действительно вами горжусь. Когда придет время, я знаю, вы сделаете все, что в человеческих силах. И никто этого не сделает лучше вас. А теперь по коням — пора домой.

Почти до самого утра я лежал на койке без сна, уставившись в темноту палатки, и слушал, как огромные мотыльки бьются крыльями о москитную сетку. Время от времени я слышал гул моторов «летающих крепостей», поднимавшихся с аэродрома на Тиниане, а с берега доносился отдаленный стук свайного молота — «морские пчелы» строили новый пирс. «Черт! Черт! Черт!» — сердилась машина. Где-то рядом странная птица тревожила сон джунглей кокетливыми трелями, а еще ближе, подо мной, на фанерном полу, с треском сталкивались неуклюжие улитки. Я старался сосредоточиться на этих звуках, чтобы не дать течению мысли унести меня в трясину видений, где меня затянет на дно абсолютного отчаяния. Судя по ровному дыханию Стайлза и Винериса, они спали глубоким сном, и от этого меня охватывало еще большее беспокойство: как они могут спать после зловещих предсказаний полковника?

Где реки быстротечны,
Могилы тех ребят;
В полях девчонки вечно
Средь роз увядших спят*.

Я осветил фонариком страничку «Карманного поэтического сборника», открытого на стихотворениях Хаусмана. Стоическое и безнадежное настроение этого пасторального реквиема откликнулось у меня в душе чувством бессилия и обреченности. Я презирал себя за бесхребетность и слабость духа, но ничего не мог поделать с наползающим отчаянием. В конце концов я отложил книгу, и долго лежал, глядя в темноту. Не в силах больше бороться с усталостью, я уплывал в страну теней, где фантазии мешались со сном, и вскоре мне уже представилось нечто отвратительное: день Д и я сам, полностью утративший присутствие духа. Я видел себя как фигуру в кинохронике, бегущую мишень. Плацдарм был объят пламенем. Скаты опустили, и я ринулся вниз, на твердую землю, делая взводу знаки следовать за мной. Неровный рельеф пересекали проволочные заграждения, в небе над нами вспыхивали осветительные снаряды. Где-то сбоку трещал японский пулемет, и визг шрапнели разрывал раскаленный воздух, земля дрожала от взрывов. Я обернулся и увидел, как мои подчиненные, низко пригибаясь, рассредоточились у кромки бе-

* Пер. А. Лукьянова.

рега: ребята один за другим падали на песок, по-прежнему сжимая в руках винтовки. Перед глазами мелькнули белые кости и кровь, струившаяся как вино Святого причастия. И тут от вида крови я замер словно парализованный. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, не мог произнести ни слова: меня охватило оцепенение и безволие. Кто-то из командиров отделений моего взвода спрашивал глазами: «Лейтенант, что нам делать?» Не в силах думать, я не отвечал. Сквозь клубы дыма я видел своих соседей по палатке: слева Стайлз, справа Винерис вели своих солдат в наступление. По радиии я слышал яростный рев командира роты: «Продвигайтесь вперед!» Но команда не имела силы, не имела смысла, словно ее отдавали на неизвестном языке. Я не мог сдвинуться с места, словно врос корнями в японскую землю и превратился в дерево. А самым ужасным — непереносимым — было выражение глаз Стайлса и Винериса, которые продвигались вперед сквозь густой рой вражеских пуль и периодически оглядывались на меня с безмерным презрением и ненавистью.

Я проснулся весь в поту, сердце у меня колотилось; я боялся, что своими сдавленными криками разбудил друзей. Но они спокойно спали. Долго, очень долго я лежал, прислушиваясь к их дыханию. Они будут спать, когда, довольно скоро, я выполню данное себе обещание и в одиночестве разыграю маленький спектакль, который репетировал много раз.

Я почти готов. До этого момента я никогда не позволял себе репетировать первую деталь плана, который приведет меня в джунгли. Сейчас я скользнул рукой по стенке палатки и дотронулся пальцами до холодного металла винтовки, стоявшего на подставке на полу. На ощупь ее ствол был скользким от смазки; прикосновение утешало и придавало сил. Затем я отнял руку. Мысль о грядущей ночи заставляла мое сердце учащенно биться. Я не знаю, когда это будет, знаю только, что эта ночь наверняка придет — ночь, когда я выйду из палатки в стрекочущую кузнечиками темноту и там, в зарослях гибискуса и коралловых деревьев, мой страх исчезнет навсегда.

Я поднимался по лестнице к себе, когда Изабель крикнула с кухни, что сварила для меня еще кофе. В ее голосе слышались примирительные нотки.

— Я оставила кофеварку на подогреве, — услышал я. — Можешь выпить позже, кофе останется горячим.

Капля сердечности, малая толика тепла — неужели на затянутом тучами горизонте наших отношений мелькнул солнечный лучик? Я поблагодарил ее через перила и прошел в свою комнату. Я стал спокойней относиться к мачехе, и уже готов был простить ей все обиды, даже те, для которых у меня имелось полное основания (включая тот раз, когда я случайно услышал, что она доносит на меня отца,

называя «дегенератом с параноидальными тенденциями», после того как я, слегка пьяный, вернулся домой в три часа ночи). Может быть, мы трое сможем худо-бедно сосуществовать и даже испытывать друг к другу теплые чувства. Господи, это было бы здорово.

Из окна спальни мне было видно Майми Юбэнкс, которая расположилась на шезлонге в маленьком дворике за домом. На ней был отдельный купальник, вполне целомудренный для послевоенных лет, когда начали увлекаться открытым телом; я смог различить выглядывающий пупок и симпатичный розовый животик, который она мазала кремом для загара. Ножки у Майми были что надо! На коленях у нее лежала книга под названием «Риза Господня» — раздутый роман о распятии Христа, бестселлер военных лет, — и это придало мне уверенности, что между нами возможно взаимопонимание, поскольку «Риза Господня», будучи, в сущности, унылым набором трескучих фраз, написанных проповедником (вроде ее отца), хоть как-то претендовала на литературность и была на порядок выше фундаменталистских религиозных произведений, которыми, по моему убеждению, Майми увлекалась. С нею можно будет поговорить о книгах. И тут появился ее отец. Огромный широкоплечий мужчина деревенского вида, с красным лицом и мускулистой фигурой человека, привыкшего к физической работе. Мы с ним общались всего несколько раз: он раз-

говаривал елейно и вкрадчиво, с неловкой сдержанностью полуграмотного пастора из медвежьего угла. Подозреваю, он догадался, что я не верю в Бога. Нам нечего было друг другу сказать, и хотя он держался очень вежливо, я чувствовал враждебность: глаза его сузились, а челюсти свирепо сжались. Думаю, когда Святой Дух Евангелия берет его за жопу, он может доводить себя до исступления, особенно насчет греха, и мне бы не хотелось попасться ему под руку в такой момент. Теперь Юбэнкс подошел к Майми, и она, подняв глаза, просияла улыбкой, когда он с отеческой лаской погладил ее светлые кудряшки. Они что-то говорили, но так тихо, что я не мог разобрать, а потом Юбэнкс рассмеялся и сказал: «Слава Господу!» Наверное, они все время говорят друг другу: «Бог любит тебя!» или «Да, Иисус!» Вот ведь гадское семейство. Продолжая наблюдения со своего насеста, я видел, как Майми рассеянно задрала край трусиков, чтобы почесаться, оголив при этом обширную часть аппетитной попки. Почему-то на меня это подействовало возбуждающе, хотя я тут же почувствовал себя шпионом. Жара становилась нестерпимой, и я решил помыться, чтобы снять возбуждение.

Стоя под душем в крошечной ванной, я строил планы на этот летний день. Я предвкушал блаженное безделье, чередуемое с творческим трудом. От предстоящей свободы меня билa радостная дрожь. Я словно приходил в

себя после тяжелой болезни и никак не мог привыкнуть, что теперь волен распоряжаться собой как вздумается. Мне больше не надо вставать до рассвета и месить грязь в джунглях под проливным дождем, или коченеть от скуки на лекции по уходу за ногами, или жрать всякую дрянь, неизвестно из чего состоящую, или, изнывая от тоски, подолгу ждать писем из дома, или отдавать честь какому-нибудь придурку в капитанской форме (в морской пехоте такие тоже водились, хоть их было не много), или... Продолжать можно бесконечно. Гражданская жизнь казалась блаженством. За все время службы в морской пехоте (если не считать нескольких дней отпуска) у меня не было времени, чтобы вот так, как сейчас, в свое удовольствие отмокать под душем. Из головы не шла старая песенка: «Аллилуйя, я бездельник... Аллилуйя, я лентяй...»

После душа я переоделся в просторную спортивную рубашку и мешковатые штаны — никакой облегчающей формы, жмущей в паху и под мышками. Едва мой взгляд упал на телефон, я тут же принял решение. Майми Юбэнкс. Если я протяну еще немного, то, наверное, никогда не осмелюсь ей позвонить. Глянув еще разок на ее двор, я набрал отпечатавшийся в памяти номер, а затем одновременно услышал звонок и увидел реакцию Майми: она подпрыгнула, бросила «Ризу Господню» на землю и помчалась на кухню. И сразу же у меня в груди возник ком, а дыхание стало неестествен-

но глубоким. Я так боялся выдать свои чувства — неуверенность, страх, похоть, — что почти уже бросил трубку, когда услышал ее жизнерадостный голос:

— Дом Юбэнксов. Доброе утро.

— Это Пол, Пол Уайтхерст, — сказал я. — Привет, Майми, как поживаешь?

— Пол? Наш сосед? О, Пол, рада тебя слышать.

Судя по голосу, она обрадовалась.

— Я вот решил тебе позвонить. — Мой голос предательски дрогнул. — Твоя мама сказала, что ты должна вернуться оттуда, где была. Из Каролины, если не ошибаюсь?

— Да, из летней школы при библейском колледже. Это в горах, рядом с Буном. Там было прохладно. А здесь ужасная жара, просто как в печке.

— По радио сказали, что к концу дня немного похолодает.

Я помедлил, но все же продолжил:

— Скажи, Майми, а что ты делаешь сегодня вечером? Если ты свободна, то, может, мы сходим куда-нибудь поедим, а потом погуляем?

Последовало долгое, довольно пугающее молчание. Наконец она сказала:

— Даже не знаю, Пол. Я бы с удовольствием, но папа не любит, когда я поздно возвращаюсь.

— Поздно — это во сколько?

— После десяти.

Ей двадцать лет, подумал я, а отец все еще караулит ее как сторожевой пес.

— Ну, нормально, — ответил я. — Мы к этому времени как раз вернемся.

Я почувствовал себя уверенней.

— А еще, — продолжала она, — у меня в половине шестого репетиция хора. Я освобожусь только в семь.

Итого у нас три часа. Мы договорились обо всех деталях. Несмотря на непредвиденные обстоятельства, все вышло так, как я и хотел: мой план начинал работать в штатном режиме. Я заберу Майми из первой баптистской церкви (можно будет посмотреть на нее, с воодушевлением расппевающую «Что за друга мы имеем» и «В надежных руках Иисуса»), потом мы съедим по гамбургеру в закусочной «Пенинсула», и у нас еще останется время — часа полтора или два, — чтобы заехать в укромный уголок с видом на гавань, а там, на широком переднем сиденье подержанного, но безукоризненного отцовского «понтиака», я смогу поближе познакомиться с этим милым созданием. Сомневаться не приходилось: я серьезно на нее запал, — однако не мог же я влюбиться в невинного христианского ангела? Внутренний голос подсказывал, что я могу нарваться на крупные неприятности. И все же остановиться я был уже не в силах.

— Майми, — сказал я, перед тем как положить трубку, — я буду ждать тебя в церкви в семь.

— Храни Господь, — ответила она, и сердце у меня упало.

Перед тем как спуститься вниз к кофе, я достал из комода и рассовал по карманам всякую мелочь, готовясь к поездке в город: носовой платок, сигареты, зажигалку «Зиппо». Недавно я купил новый бумажник; старый был мне дорог как память, но все-таки пришлось его выкинуть из санитарных соображений: в джунглях Сайпана его отделения покрылись вонючей зеленой плесенью. В новую модель я вложил хрустящую двадцатидолларовую бумажку. Ее мне должно было хватить почти на неделю, особенно если учесть, что мое любимое заведение в центре города по-прежнему отпускало большой стакан разливного пива всего за пять, а бутылку — за десять центов. Хотя меня нельзя было назвать финансовым воротилой, для холостяка я был вполне платежеспособен. Благодаря невиданной щедрости правительства ветераны вроде меня в течение целого года еженедельно получали чек на двадцать долларов — своего рода премия за то, что вернулись с войны живыми. Я положил бумажник с двадцатью долларами в задний карман брюк, и тут мой взгляд упал на один из трех сувениров, привезенных с Тихого океана. У морпехов была мода на японские безделушки, и на полях кровавых битв они собирали разнообразную добычу: самурайские мечи, флаги, браслеты с личными данными, офицерские пистолеты, кожаные

ремни, часы, винтовки, расчески, миски для риса — словом, все, что можно снять с трупа.

Некоторые сувениры были особенно отвратительны: золотые зубы, мумифицированные части тела (пальцы рук и ног) — такое собирали те, кто был по натуре склонен ко всяким зверствам. Один капрал из моего батальона носил с собой два похожих на сморщенные сливы талисмана — высушенные яички японского солдата, которого он собственноручно отправил на тот свет в разгар битвы на Тараве. Капрал этот не был чудовищем, наоборот, на мой взгляд, вполне симпатичный парень, и такое поведение объяснялось лишь безмерной ненавистью к врагу — ненавистью, которую испытывал почти каждый морпех и которую никогда не понять рядовому американцу.

У меня самого дома имелся сияющий штык из закаленной стали и еще флаг с эмблемой восходящего солнца. Однако главным моим сокровищем был круглый медальон, который я выиграл в покер на Сайпане. Этот выигрыш нельзя объяснить одной только удачей — я вообще плохой картежник, — но прежний хозяин медальона, кадровый уоррент-офицер из штаба полка, был наполовину пьян после бутылки джина «Гордонз», добытой им в предыдущей партии, и под влиянием алкоголя легко уступил мне эту милую безделушку. Медальон был ценным приобретением. Исключительно тонкая работа: полированное золото с инкру-

стацией из слоновой кости в виде японского иероглифа, окруженного филигранью, на тонкой цепочке. Он был довольно тяжелым и гладким на ощупь. Глупо, но я довольно долго считал его сплошным, пока случайно не обнаружил, что он, как и положено медальонам, открывается и внутри спрятана фотография. Снимок был сделан на пароме. Две маленькие девочки, очевидно сестры, лет примерно четырех и пяти, пристально смотрели в объектив из-за спинки кресла. На них были одинаковые соломенные шляпки с бантами, завязанными спереди, а бездонные черные глаза делали их похожими на совят.

Поначалу эта фотография меня смущала, и я даже собирался ее выбросить. Мне и без того было неловко держать у себя дома такой мрачный сувенир, и снимок еще больше усилил упреки совести. Однако уничтожить чудесный портрет значило бы признать свою вину, а пустота внутри стала бы еще худшим напоминанием. Поэтому я оставил картинку в медальоне и время от времени разглядывал девочек на пароме, стараясь не думать об их отце, с чьего мертвого тела был сорван мой трофей.

Изабель перебралась из гостиной в альков, который служил ей чем-то вроде кабинета. Моя мачеха преподавала на курсах для медицинских сестер в соседней больнице, и поэтому ей приходилось проверять письменные работы и готовиться к занятиям; вдобавок она

тратила очень много времени на всякие благотворительные дела в епископальной церкви, и как бы я к ней ни относился и что бы ни думал о ее взглядах, мне оставалось только признать, что сердце у нее на месте. Изабель верила в благотворительность, и не только потому, что ее церковь поощряла милосердие, а просто (мне легче проглотить гвоздь, чем это признать) от природной доброты. Она подкармливала бездомных кошек, которые водились рядом с нашим домом, кормила меня, в конце концов, хоть и не обязана была готовить вкусный завтрак вроде того, что я слопал сегодня утром. На мгновение мне стало стыдно, что я не ценю редкие моменты ее сердечного ко мне отношения; стук пишущей машинки Изабель откликнулся у меня в душе сердечным расположением.

Но это длилось лишь мгновение. Я налил себя чашку кофе из новой кофеварки. Прислушиваясь к голосу Лу Рабиновица по радио, я обнаружил, что нью-йоркский еврей сумел добиться беспрецедентной для Старого доминиона поддержки. Действительно, ни разу за всю историю виргинского правосудия — по крайней мере в делах негров, учинивших сексуальное насилие над белыми женщинами, — у несчастного правонарушителя не было такого заступника, как Лу Рабиновиц. У него хватило дерзости вытащить дело Букера Мейсона на первые страницы газет и заставить реакционную виргинскую прессу на-

писать о, как он выражался, «фундаментальной» несправедливости, которая должна была совершиться в Ричмонде сегодня вечером. Он говорил с печальными интонациями жителя Бронкса, но одновременно в его речи слышался проповеднический жар человека, происходившего (как указывала фамилия) из семьи потомственных раввинов.

— И что же дальше, Лу? — спросил его один из журналистов.

— Поскольку Верховный суд в очередной раз отказался взять на себя ответственность, у нас осталась одна-единственная возможность — подать губернатору прошение о помиловании.

— Каковы шансы, как вы думаете?

— Губернатор — добросердечный человек и христианин. Он чаще других губернаторов южных штатов отменял приговор в тех случаях, когда была попорана справедливость. И этот случай — самый вопиющий из всех.

— Вы полагаете, что существующий закон несовершенен?

— Я считаю смертный приговор за половой акт, пусть даже насильственный, — неоправданной жестокостью. Я не утверждаю, что мой клиент — святой. Мистер Мейсон признал свою вину, но это не умышленное убийство. Более того, в штате Виргиния ни один белый не был приговорен за аналогичное преступление к высшей мере наказания. Это аморально.

Я вздрогнул, когда понял, что практически одновременно впервые услышал по радио скабрзное сочетание «половой акт» и почтительное обращение «мистер» перед фамилией негра, прозвучавшее как насмешка. Тем временем Изабель пришла на кухню, и теперь стояла и слушала интервью. Я сразу же испугался, что болтливый адвокат с его еретическими высказываниями снова ее рассердит и тем самым нарушит хрупкое спокойствие этого утра. Мне захотелось поскорее выключить приемник.

— Послушайте, — говорил Рабиновиц. — Виновность моего клиента тут не обсуждается. Справедливым решением по делу мистера Мейсона вполне мог бы стать длительный тюремный срок, который устроил бы государство. Изнасилование считается тяжким преступлением во всех штатах. Но я не хочу замалчивать тот факт, что, кроме вышеупомянутого попраания справедливости, здесь затронуты другие принципиальные вопросы. Наш долг — разрушить исторические предрассудки, которые веками держат в страхе негритянское население. Еще с рабовладельческих времен сексуальность белых женщин использовали как метод запугивания негров.

Даже если бы слова Рабиновица были отравленными стрелами, пущенными из Ричмонда по волнам эфира прямо в широкое лицо Изабель, она не могла бы отреагировать более яростно.

— Он лжет! — взвизгнула она. — Какое за-
путывание? Про негров все давно известно. И
Мейсон тому пример. Клиент этого еврейчи-
ка, я хотела сказать. Он так прямо и говорит,
что Мейсон жестоко и цинично надругался
над бедной женщиной — слава Богу, ее име-
ни не сообщали, — чтобы отомстить за какие-
то воображаемые обиды. Он сам это призна-
ет и тут же заявляет, что белые женщины сами
виноваты в том, что становятся жертвами...

— Изабель! — не выдержал я. — Он абсо-
лютно прав!

В то время пока я это говорил, у меня в
мозгу вертелось: надо бы поскорей убраться
из дому.

— Как ты не понимаешь, Рабиновиц отста-
ивает справедливость, только и всего! Он ведь
не говорит, что Мейсон не виноват. И он не
обвиняет белых женщин. Он только хочет
сказать, что здесь, на Юге, в 1946 году проис-
ходит ужасная трагедия и, как обычно, негров
распинают за грехи белых. — И тут я сорвал-
ся: — Почему, черт возьми, нельзя быть хоть
немного терпимее?

Она смотрела на меня с ненавистью. Ее
глаза от природы немного навывкате, и когда
Изабель злилась, они, казалось, выпрыгивали
из орбит. Когда она меня совсем доставала,
мне оставалось только радоваться, что маче-
ха некрасива. Женись отец на красавице, мне
бы не было ее жалко, а так... Рябое неказистое
лицо вызывало хоть какую-то жалость, и это

чувство удерживало меня от открытого конфликта. А как раз открытого конфликта я всеми силами старался избежать. Моя торжественная либеральная отповедь, даже с такой суровой кодой, была наспех найденной заменой тяжелой словесной дубине, которую я, честно говоря, уже почти готов был пустить в ход.

Изабель по-прежнему смотрела на меня. Я послал ей в ответ выразительный взгляд, поставил чашку на стол, развернулся и снова отправился на крыльцо. Во рту у меня пересохло. Колени дрожали, а стресс болезненно ударил адреналином по почкам. На крыльце было жарко как в парилке. Чтобы успокоиться, я взял отцовский бинокль и начал осматривать гавань. Меня ничто особо не интересовало — просто нужно было отвлечься от Изабель. «Миссури» был виден так ясно, что я мог различить белые шапочки на головах толпившихся на палубе матросов. Дальше к северу, у входа в бухту, грузовой пароход медленно уходил в сторону моря; судя по большой белой надписи «МЭРСК» на боку, это было датское судно. Большие буквы напомнили мне другой корабль с яркой запоминающейся эмблемой, который я видел в гавани много лет назад. Я гулял с отцом вдоль волнолома и обратил внимание на ярко-красный шар на боку грузового судна. В десять лет я уже понимал, что корабль с такой высокой осадкой идет пустой, и поэтому спросил про него у отца.

— Это японский торговец, — ответил отец, и в голос его мне послышалось презрение или, может, гнев. — У них это называется «восходящее солнце». Он поднимется по реке Джеймс до Хоупвелла за грузом металлолома или селитры, а может, и того и другого. В любом случае это преступление.

Я попросил его объяснить, и он ответил:

— Из селитры делают порох, из металлолома — пушки. Когда будет война, и то и другое применят против американских парней. Это преступление, сынок.

Он притянул меня к себе.

— Я хочу написать нашему конгрессмену и сказать ему, что мы снабжаем врага.

Мог ли он тогда подумать, что его собственный отпрыск когда-нибудь сойдется с японцами на поле битвы?

Несмотря на всю свою прозорливость отец, я думаю, не предвидел, что его маленький мальчик вырастет, станет морским пехотинцем и поведет обреченных солдат в последнюю решающую битву, и тем не менее чутье историка-любителя говорило ему о надвигающейся катастрофе. В отличие от большинства своих коллег он понимал, что серые мастодонты, один за другим сходящие со стапелей его верфи в мутные воды реки Джеймс, предназначены не для парада и что когда-нибудь они послужат стартовой площадкой для воздушных налетов на врага. Вряд ли его можно было назвать интеллектуалом, однако он много читал о войне

и политике, а кроме того, тридцать лет участвовал в создании могучей военной техники и пришел к выводу, что такие дорогие игрушки строят не для того, чтобы они ржавели без дела. И когда, в ужасный день Перл-Харбора, я, взволнованный, позвонил отцу из школы, он говорил со мной с глубокой печалью в голосе, но без всякого удивления.

Я отложил бинокль и огляделся: по пешеходной дорожке вдоль берега спешила знакомая фигура — призрак из прошлого.

— Боже мой! — изумился я. — Да это же Флоренс.

Худенькая, в белой больничной форме, она шла на удивление быстро, и я немного запыхался, пока сбежал с крыльца и наконец догнал ее.

— Фло, — окликнул я. — Фло! Это Пол, ты меня не узнала?

Она остановилась и обернулась: сторбленная, почти совсем седая негритянка. На лице отразилось недоумение, желтоватые глаза смотрели приветливо и озадаченно. На черном лбу блестели капельки пота. И тут ее лицо словно осветилось.

— Пол! Пол! — радостно завопила она. — Господи помилуй, это действительно ты!

Мы упали друг другу в объятия.

— Дай-ка обниму тебя, мой золотой, — сказала она приглушенным голосом, а потом отодвинулась, чтобы разглядеть меня получ-

ше. — Просто не верится, что это мой маленький Пол.

— Это я, Фло. Вернулся с того света. Рад тебя видеть. А что за больничная форма?

— Я теперь там работаю, — объяснила она, мотнув головой в сторону кирпичного здания вдалеке. — Схожу с автобуса на Локуст-авеню и иду как раз мимо вашего дома. И дня не проходит, чтобы я о тебе не вспомнила.

Она оглядела меня с ног до головы.

— Ну ты смотри, какой здоровенный стал! А был такой тощенький, как щепка. Да, возмужал, ничего не скажешь.

Фло снова обняла меня, окружив теплом и добротой, как часто делала, когда я был мальчишкой. Фло работала у нас те долгие десять лет, пока моя мать тяжело болела, и обрела в моих глазах ореол материнства. Она кормила меня (очень вкусно), умывала, нянчилась со мной и следила, чтобы я хорошо себя вел: строго отчитывала за действительно дурные поступки и великодушно прощала мелкие прегрешения, укрывая меня от родительского гнева искусной ложью. Шесть дней в неделю (за исключением вечера четверга) Флоренс — или Фло, как я ее назвал, — вкалывала с утра и до позднего вечера и уже затемно присоединялась к толпе бедно одетых негритянок по всему городу, спускавшихся вниз по ступенькам кухонь. В руках они держали пакеты с остатками ужина или бан-

кой супа «Кэмпбелс» — ежедневной прибавкой к их грошовому жалованью.

Это Фло и ей подобные, стоя под проливным дождем, терпеливо ждали трамвая, чтобы добраться до трущобного анклава, границы которого проходили там, где заканчивался асфальт. Только недавно, с приходом эпохи социальной ответственности, эту часть города перестали называть Ниггертауном. Она родилась в прошлом веке на заброшенной плантации, девятая дочь в семье бывших рабов и тринадцатый ребенок из двадцати. Я всегда удивлялся, как без всякой школы она научилась читать, а потом и писать. Ее послания, написанные неразборчивыми каракулями, умиляли меня комичной высокопарностью и глубокомыслием. Глядя в живое, изборожденное морщинами лицо, я разрывался между любовью к милой хранительнице моего детства и жгучим стыдом за то, что, вернувшись домой, даже не пробовал ее отыскать.

— Я три года прослужил в морской пехоте, Фло. Там любой окрепнет.

— Слыхала я, что ты стал морским пехотинцем. Там служат храбрые ребята. А ты-то сам цел?

— Цел, — успокоил ее я. — Меня даже не ранило. Но я очень долго был вдали от дома и очень тосковал.

— Тебя там хорошо кормили? Небось там не давали такой жареной курицы с подливкой, какой тебя кормила Фло!

Она взяла меня за руку и сжала ее, радостно смеясь.

— Когда ты был маленький, ты мог съесть больше жареной курицы с рисом, чем трое взрослых.

— Как я мечтал об этой курице! Я служил на острове под названием Сайпан на Тихом океане. Не было дня, чтобы я не вспомнил о твоей жареной курице.

— Как поживает твой отец? — спросила она, и ее глаза немного затуманились.

— У него все хорошо. Он по-прежнему работает на верфи. И все на том же месте. Ему нравится эта работа, ты же знаешь, Фло.

— Я скучаю по мистеру Джеффу. По твоему отцу.

От этих слов меня охватила жалость и одновременно негодование. Опять она, Изабель. Когда после смерти матери в доме появилась Изабель, Фло почти сразу же пришлось уйти. Вернувшись из школы домой на День благодарения, я обнаружил, что мою любимую няню изгнали навсегда. Образовавшийся вакуум я пережил почти как личную утрату.

— Флоренс и Изабель не сошлись характерами, — объяснил отец, пытаясь меня успокоить. — Ничего не поделаешь. Ни одна не хочет уступать.

Мне бы следовало догадаться, что не стоит произносить это имя вслух.

— Похоже, он счастлив с Изабель. Она о нем заботится.

Фло внезапно нахмурилась, и в ее голосе послышалась горечь:

— У этой леди нет души, детка. Совсем нет души. Тебе повезло, что ты служил в морской пехоте.

Я предпочел сменить тему.

— Так что ты делаешь в больнице?

— Хожу за стариками, — ответила она чуть-чуть насмешливо. — Стелю постели и убираю блевотину. Ты понимаешь, старики все время блюют. Но надо же как-то на жизнь зарабатывать. Оба моих сына сейчас в Портсмуте, работают на военной верфи. Они присылают мне денег, хотя и не очень много.

Мне стало грустно от мысли, что Фло лишилась заработка и положения — она, настоящая волшебница на кухне, хозяйка домашнего очага, теперь вынуждена ползать на коленях по грязному полу, подтирая блевоту.

— Я справляюсь, — добавила она.

— Послушай, Фло, я бы хотел тебя навеситить, правда. Я так часто думал о тебе и просто не смог... — Я запнулся от смущения. — Может, еще соберемся?

— Ну конечно, детка. Буду рада тебя видеть. Я каждый день дома, ухожу только по утрам. Живу в том же старом доме. И дел у меня никаких нет — сижу, слушаю радио. Мыльные оперы. «Жизнь прекрасна», «Путеводный свет», «Право на счастье» — в общем все, что передают.

Фло рассмеялась.

— Очень я их люблю.

Я снова обнял ее, и она повернулась и пошла в сторону больницы, оставив меня наедине с воспоминаниями. На душе было скверно. Я снова стал обдумывать свои планы на это утро.

На улице рядом с домом стоял отцовский «пontiак». Большую часть времени машина была в моем распоряжении и занимала в моем расписании важное место. Почти каждое утро я ехал в чудесный заброшенный парк на берегу реки, где огромные нависшие сикоморы отбрасывали кружевную тень на шаткие, но вполне еще пригодные столы для пикников. В этом укромном уголке, вооружившись желтым блокнотом и связкой остро наточенных карандашей, я предавался «творчеству»: сочинял нескладные, но прочувствованные короткие рассказы. Вирус писательства, который я подхватил еще в колледже, наградил меня хронической лихорадкой, которая и не думала стихать. Иногда это походило на умопомешательство — так высоки были мои ожидания. Короткий рассказ, отосланный мной в редакцию журнала «Стори» — лучшего из всех, специализирующихся на малой форме, — не был принят, но внизу типового печатного бланка отказа рецензент приписал от руки: «Попробуйте еще раз!» Я посчитал это огромным комплиментом. Повелительное наклонение и восклицательный знак заполнили мою душу сладким ядом! Я повторял эти слова как

мантру. Кроме блокнота я брал с собой книги — Стейнбека, Синклера Льюиса, Катера, Вулфа. В чередовании чтения с письмом время пролетало незаметно. И перед собой я всегда видел волнующую панораму Джеймс-ривер, достигавшую здесь, у самого устья, шести миль в ширину. Джеймс-ривер столь значима в американской истории, что даже у меня, который провел детство на ее берегах, ходил под парусом, ловил крабов на мелководье и однажды чуть не утонул в ее водах, она будила самые невероятные фантазии.

И каждый раз, когда я глядел на эту широкую водную гладь (слишком медленную и мутную, чтобы назвать ее величавой, но остающуюся тем не менее важным водным путем), грузовые суда и танкеры, двигавшиеся вверх по течению, исчезали из вида и перед глазами вставало суденышко — направляющийся в Джеймстаун голландский галеон с грузом «черного дерева», как называли закованных в цепи рабов. Я никогда не забуду, как в шестом классе наша недалекая учительница истории мисс Томсон, не поднимая глаз от книги, зачитывала нам текст («В 1619 году, ставшем одной из самых знаменательных дат в истории нового английского поселения, из Африки была доставлена первая партия рабов...»), и голос ее звучал механическим бормотанием. Сухая старая дева совершенно не обращала внимания на могучий поток за окном, который доставил судно к конечной цели.

— Так оно было вон там? — воскликнул я, внезапно перебивая ее, к удивлению моих одноклассников.

— Что «оно»? — переспросила она, тоже удивленная.

— Ну, голландское судно, которое привезло рабов.

На мгновение я ясно увидел плывущий на запад по зыбким волнам потрепанный галеон, его тяжелый корпус с высокой кормой и поднятые паруса.

— Ну да, — решительно произнесла она. — Думаю, да. Наверное.

Она вернулась к чтению, явно раздраженная. Ученики перешептывались, подозрительно глядя на меня. Я вдруг смутился, что один увидел на реке далекое видение, и тут же пришло отчаянное желание открыть наконец тупой училке глаза на призрак прошлого, который бродит по этим древним берегам.

Я не могу объяснить, почему негры и их присутствие в моем детстве — загадка цвета и жестокого наследия рабства в целом — так занимали мое воображение. Чернокожие обладали такой огромной властью над моим сердцем и душой, что я не мог не писать об этом в ученических рассказах, над которыми пыхтел, сидя у берегов реки Джеймс. Именно оттуда я отправился в путешествие по вымышленной стране, созданной воображением Фолкнера. «Свет в августе» стал моим первым знакомством с его яростным красноре-

чием, и я был совершенно очарован. Мой Бог! Я сразу же понял, как глубоко в сердце писателя врезалась расовая проблема. Фолкнер настолько подавлял меня своим талантом, что я морщился, восторгаясь его колдовскими ритмами. Я понимал, что никогда мне не сравниться с ним по масштабу дарования и по накалу страстей, но великие трагические вопросы, которые он затрагивал: взаимоотношения черных и белых, смешение кровей, ощущение вины, оставившее неизгладимый след в душах белых южан, — волновали и меня тоже.

Три или четыре часа проходили за работой над моими дилетантскими рассказами — о Лоуренсе, моем любимом черном парикмахере, или о мудрости Флоренс; страшное эссе о сцене линчевания в Северной Каролине, свидетелем которой стал мой отец, когда был ребенком, — а после полудня наступало время заканчивать. Я складывал свои желтые листочки и два десятка исписанных до деревяшки карандашей, подбирал разбросанные вокруг стола окурки (инстинктивная аккуратность, привитая Корпусом морской пехоты), надевал крышку на термос с кофе, который всегда брал с собой, чтобы заставить мозги работать, и ехал в центр, в кафе «Палас», поесть и развлечься — этой минуты я всегда ждал с величайшим нетерпением.

Я любил кафе «Палас» и напиваться там тоже любил. Сразу после первой бутылки пива из тех четырех-пяти, что я там выпивал,

уходила мучительная тоска, не оставлявшая меня с тех пор, что я служил на Тихом океане. Тот период моей жизни никогда до конца не уходил у меня из головы, бился в душе пульсирующей болью; впрочем, нескольких глотков хорошего пива действовали успокаивающе, как укол морфия. У деревенских жителей старого доминиона такое называется «промочить горло». Это приличное, цивилизованное пьянство, одинокое, немного погруженное в себя, но не доходящее до буйства или беспамятства. Я гордился тем, что никогда не позволял себе перебрать лишнего.

Основными посетителями кафе «Палас» — похожей на скотный двор таверны на главной улице города — был технический персонал судостроительных верфей. Они обычно заказывали свиные отбивные с картофелем, и к двум часам дня, когда я обычно приезжал, обеденный перерыв у них уже заканчивался. Я усаживался под огромным электрическим вентилятором, гонявшим тяжелый, пахнущий свиной воздух. В это время в заведении почти никого не было, и я полусонно расслаблялся в засаленной кабинке под доносившиеся из музыкального автомата грустные голоса Эрнеста Табба, Роя Акуффа и Китти Уэллс. Эти трубадуры кантри задевали в моем сердце какие-то особые струны, не те, что Моцарт, но не менее важные и волнующие. Они, как холодное терпкое пиво, заставляли все связанное с войной отступить, и на первый план

выходили причудливые мечты о будущем. Это было как наваждение: я знал, что стану писателем! Сидя за столом, я перечитывал свои наброски, воображая, как через десять или даже двадцать лет мой талант расцветет, затем принесет плоды, и голову вчерашнего новичка увенчает лавровый венок мастера. Плывая по волнам безумных фантазий, я все-таки снисходил к нуждам организма и делал ему поблажки в виде жареного картофеля и маринованных свиных ножек — фирменного блюда заведения.

А потом появлялась моя любимая официантка, Дарлин Фулчер. Половину прелести кафе «Палас» составляла Дарлин и ее игривые непристойности, на самом деле носившие вполне невинный характер в силу ее преклонного (как мне казалось) возраста — ей было за сорок — и совершенно невообразимой внешности: огромный, весь в черных точках, нос, очки, пышная прическа и все остальное в том же духе. Однако все это уравновешивалось красивой чувственной фигурой. С такой фигурой она могла себе позволить всякие похабные шуточки. Правда, в самом начале я просидел в своем уголке пять или шесть дней подряд, не обращая на нее внимания, пока наконец, ставя передо мной пиво, Дарлин не спросила негромко:

— Скучаешь без киски?

Тут не было никакого кокетства — просто приглашение к знакомству, попытка очертить

границы моего упрямого одиночества. Я обрадовался такому вторжению: мне нравилось ее простодушное подтрунивание («Спорить могу, у тебя большой член. Если у парня большой нос, значит, и между ног все в порядке»), но она хорошо понимала, когда меня нужно оставить в покое и дать погрузиться в лечебную ванну «Будвайзера». Иногда ближе к вечеру Дарлин подходила к моему столику поболтать. Глядя, как она стоит, положив руку на бедро, и терпеливо отмахивается от мух, я понял, что установившееся между нами взаимопонимание позволяет мне говорить о войне. Не обо всем, конечно, но ей я мог сказать гораздо больше, чем отцу или Изабель.

— Я как тебя увидела, сразу поняла: человека что-то гложет. Это война? С тобой что-то случилось?

Ответить на такой вопрос было непросто.

— И да и нет, Дарлин.

— Не бойся, я не буду приставать с расспросами. Моего кузена Лероя тоже ранило на войне, в Европе. Он не любит об этом говорить.

— Нет, меня не ранило. Я остался цел. Дело в другом. — Я замолчал. — Но, наверное, не стоит об этом.

Помолчав немного, я сказал:

— Это в голове — в сознании. Уж лучше бы меня ранило.

Она сразу поняла, что я хочу сменить тему.

— Как вышло, что у такого симпатичного парня нет девушки?

— Не знаю. Все мои прежние знакомые разъехались на лето. Они сейчас отдыхают на море. Или подрабатывают где-нибудь в Вашингтоне или Нью-Йорке. В общем, тут никого нет.

— Со студентками разве повеселишься? Тебе нужна горячая деревенская девчонка. Моя сводная сестра как раз развелась с мужем, полным придурком. Сейчас у нее никого нет. Ей бы тоже не помешало развлечься. Хочешь, познакомлю тебя с Линдой?

До знакомства с Линдой дело так и не дошло, но я не расстроился. Мне было хорошо сидеть в окружении бутылок янтарного пива, предаваться фантазиям о будущей славе и содрогаться от горького блаженства, которое всякий раз охватывало меня при первых аккордах знаменитой песни Эрнеста Табба «Испытай меня».

За окном я видел, как спешат домой из магазинов последние покупатели. Собрав свои записки, я обнимал Дарлин, шлепал ее по попке и тоже отправлялся домой. Я вел «понтрак» с особой осторожностью, беззаботный, в счастливом расположении духа. Скоро я вернусь в колледж, и это зловещее поле битвы навсегда останется в прошлом.

ЭЛОБЕЙ, АННОБОН И КОРИСКО

Элобей, Аннобон и Кориско. Они образуют небольшую группку островов в Гвинейском заливе, и я снова и снова возвращался к ним мыслями, лежа в своей палатке на Сайпане, где меня одолевала невероятная тоска по совсем недавнему прошлому, то есть по детству и юности.

Несколько лет назад, в филателистический период моей юности, последовавший за периодом, когда я целыми днями пропадал на голубятне, мне каким-то образом удалось приобрести относительно редкую марку Элобея, Аннобона и Кориско. «Относительно редкая» означает, что в филателистическом каталоге Скотта гашеные, как у меня, экземпляры оценивались в два доллара семьдесят пять центов. В дни Великой депрессии это была такая значительная сумма, что в животе у мальчишки довольно урчало от радости обладания, не говоря уже об эстетическом удовольствии. Пометка в моем альбоме гласила, что «Элобей, Аннобон и Корис-

ко» принадлежат Испании, точнее — Испанской Гвинее. На марке была изображена «мини-атюра» — так Скотт почему-то называл пейзажи с видами разных стран: горные вершины, пальмы и рыбачьи лодки в тропической гавани; общий колорит обычно был зеленый или синий (или, согласно Скотту с его вниманием к живописным терминам, изумрудная зелень и аквамарин), а снизу подпись: «Los Pescadores»*.

С моим острым зрением я легко мог разглядеть рыбаков: негры с белыми тюрбанами на головах тянули сети на фоне аквамарино-вой гавани и изумрудно-зеленых гор. Еще в моей коллекции были: огромные марки греческой авиапочты с восхитительными пастельными гранями, похожими на витражи; яркая марка Гватемалы с изображением птицы кетцаль с длинным, струящимся хвостом; блестящий восьмиугольник Хиджаза**, обрамленный арабской вязью; треугольная марка Ньясаленда*** с длинноногими жирафами, — но ни одна из них так не волновала мое воображение, не будила мечты о дальних странах, как марка архипелага, само название которо-

* Пескадорские острова (исп.).

** Хиджаз — территория на западе Аравийского полуострова, часть Саудовской Аравии. В 1916—1925 гг. — независимое государство, возникшее в результате восстания арабских племен против Османской империи.

*** Ньясаленд (после 1964 Малави) — государство, расположенное в юго-восточной части Африканского континента.

го звучало словно волшебное заклинание — Элобей, Аннобон и Кориско.

Вернувшись на Сайпан, я невольно посетил одно из тех далеких государств, и больше всего на свете мне хотелось растянуться на полу в гостиной и предаваться романтическим мечтам о неизведанных островах, а вовсе не ходить по ним своими ногами. Лежа в палатке, разомлев от одуряющей жары, я превращался в маленького мальчика, вызывая в памяти все более ранние годы. Вот, например, воскресный день: распластавшись на темно-красном ковре, я слюнявлю целлофановые кармашки в альбоме для марок; мама, положив обхваченную стальным обручем ногу на подставку, просматривает отпечатанную на желтоватой бумаге тетрадку «Нью-Йорктаймс», а папа за старинным секретером орехового дерева пишет очередное письмо для выяснения генеалогии семьи Уайтхерст. Тепло, даже жарко (поскольку зимой мама всегда мерзла), в комнате все еще чувствуется запах жареной курицы, которую мы ели за обедом, и все это вместе, словно коконом, обернуто слоями звуков: из стоящего на столе радиоприемника «Зенит» доносится Нью-Йоркский филармонический оркестр. Рожки и литавры. Переполняющий душу восторг. Иоганн Брамс. Приглушенная воскресная меланхолия в лиловых тонах.

Еще более ранняя сцена: мы с отцом лежим бок о бок на высоком берегу илистой

реки Джеймс. Он учит меня стрелять. Пули 22-го калибра жирные на ощупь, жженный порох пахнет одновременно сладко и остро, гильзы вылетают из затвора. «Жми не спеша», — шепчет отец, и сердце мое на мгновение замирает, когда я вижу, как зеленая бутылка из-под виски превращается в осколки на песке. Вот я моложе, еще моложе, ногами я чувствую холод фаянсового унитаза — отец учит меня писать «как взрослые». Я помню его слова: «Стань поближе, сынок, старайся попасть в дыру». Это самые ранние мои воспоминания об отце и о чувстве безопасности, которую он воплощал для сына, затерянного на просторах Тихого океана. Все, что было раньше: забытье, предпамять, семя моего отца в утробе моей матери. И по этой утробе, уютной и безопасной, я тоже тосковал в неотступном ужасе бытия.

По правде говоря, зародыш страха, который я испытывал на корабле, разросся до невероятных размеров. Я боялся до смерти. Если раньше Окинава была местом, о котором я мечтал, островом, где я мог бы испытать свою храбрость, то теперь от одной лишь мысли о возвращении туда мне делалось дурно. Я боялся войны, но еще больше боялся выдать свой страх перед ней, и уж совсем ужас охватывал меня при мысли, что в бою я покажу себя трусом и подведу товарищей по оружию. Эти хитро закрученные страхи мучили меня беспрерывно. И хотя я продолжал играть в

Уильям Стайрон

этот веселый маскарад, страх все чаще брал верх. Когда это случалось, я, если у меня была такая возможность, забивался в палатку и там, лежа на койке и глядя вверх, на шов и колыхание парусины, старался изгнать все страхи, повторяя шепотом: «Элобей, Аннобон и Кориско».

ЗРИМАЯ ТЬМА
Воспоминание о безумии

Посвящается Роуз

Предисловие автора

Эта книга началась с лекции, прочитанной в Балтиморе в мае 1989 года на симпозиуме по аффективным расстройствам, организованном отделением психиатрии медицинской школы университета Джона Хопкинса. Потом текст был в значительной степени расширен и превратился в эссе, опубликованное в декабре того же года в «Вэнити Фэйр». Изначально я собирался открыть повествование описанием моей поездки в Париж — поездки, имевшей для меня особое значение из-за той роли, какую она сыграла в развитии депрессивного состояния, от которого я страдал. Но несмотря на то что журнал предоставил мне исключительно много места для публикации, все же неизбежно существовал некий лимит, и мне пришлось убрать этот фрагмент ради других частей, которые мне хотелось оставить. В настоящей редакции вышеупомянутый отрывок вернулся на исходное мес-

Зримая тьма

то, в начало книги. Не считая нескольких относительно незначительных изменений, текст сохранен в том виде, в каком вышел из печати в первый раз.

У.С.

Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; и чего я боялся, то и пришло ко мне.

Нет мне мира, нет покоя, нет отрады: постигло несчастье.

Книга Иова

1

Однажды зябким октябрьским вечером 1985 года в Париже мне стало совершенно ясно, что борьба с расстройством моего разума, которую я вел вот уже несколько месяцев, может иметь летальный исход. Это озарение настигло меня, когда машина, в которой я находился, ехала по блестящей от дождя улице неподалеку от Елисейских Полей и как раз миновала тускло светящуюся неоновую вывеску «Отель “Вашингтон”». Я уже почти тридцать пять лет не видел этого отеля, с весны 1952 года, когда он на протяжении нескольких ночей служил мне пристанищем.

Это были первые месяцы моего *Wanderjahr*^{*}, когда я приехал в Париж на поезде из Копенгагена и остановился в отеле «Вашингтон», вследствие причуды моего нью-йоркского турагента. В то время этот отель представлял собой одну из множества простых, незамысловатых, пропитанных сыростью гостиниц для небогатых туристов, по большей части американцев, которые — если они, конечно, похожи на меня, — впервые и не без волнения столкнувшись с французами и их странностями, навсегда запомнят такой экзотический предмет как биде, установленное в унылом мрачном номере, наряду с туалетом в конце слабо освещенного коридора, которое, в сущности, является символом той пропасти, что разделяет галльскую и англо-саксонскую культуры. Но я прожил в отеле «Вашингтон» лишь короткое время. Через несколько дней я съехал отсюда по настоянию своих новых американских друзей и переселился в еще более убогий, зато более красочный отель на Монпарнасе, расположенный в непосредственной близости от ресторана «Ле Дом» и прочих заведений, служивших местами встреч для представителей литературного мира. (Мне было около двадцати пяти лет, я только что опубликовал свой первый роман и был знаменитостью, хотя и весьма скромного достоинства, поскольку мало кто из американ-

* Года странствий (нем.).

цев, живших в Париже, слышали о моей книге, не говоря уже о том, чтоб ее читать).

Однако он, отель, снова явился передо мной в тот октябрьский вечер, когда я проезжал мимо его серого каменного фасада под морозящим дождем, и воспоминания о моем прибытии в город много лет назад нахлынули на меня; в результате у меня возникло ощущение, что круг роковым образом замкнулся. Я помню, как сам себе пообещал, что, когда я уеду из Парижа в Нью-Йорк, это будет навсегда. Меня поразила собственная уверенность при мысли о том, что я никогда больше не увижу Францию, подобно тому как никогда вновь не обрету ясность рассудка, ускользавшую от меня с ужасающей скоростью.

Всего несколько дней назад я пришел к выводу, что болен серьезной формой депрессии, и беспомощно барахтался, пытаюсь преодолеть ее. Праздничный повод, заставивший меня приехать во Францию, вовсе не радовал. Один из наиболее частовстречающихся симптомов этой болезни наряду с прочими ее проявлениями, физическими и психологическими, — это чувство ненависти к самому себе, или, мягче говоря, недостаток самоуважения. И по мере того как мой недуг прогрессировал, я все более и более страдал от общего ощущения собственной негодности. Так что моя угрюмая безрадостность выглядела тем более комично, что эту спешную четырехдневную поездку я предпринял ради по-

лучения награды, которая, как я надеялся, чудесным образом вернет мне высокую самооценку. Тем летом мне сообщили о присуждении премии Чино дель Дуки, которая ежегодно вручается деятелям искусства или науки, в чьей работе отражены темы и принципы так называемого «гуманизма». Премия была учреждена в память о Чино дель Дуке, итальянском иммигранте, сколотившем состояние незадолго до и после Второй мировой войны на печати и распространении дешевых журналов, изначально — комиксов, хотя позже он занялся и публикацией более серьезных изданий; со временем он стал владельцем газеты «Парижур». Он также продюсировал фильмы, а еще ему принадлежала отличная скаковая лошадь, множество раз становившаяся призером во Франции и за рубежом. Стремясь получить удовлетворение от более благородных дел в области культуры, он эволюционировал в известного филантропа, а заодно основал издательство, приступившее к выпуску произведений, имеющих художественную ценность (так случилось, что мой первый роман, «Уйди во тьму», был опубликован в издательстве дель Дуки под названием «Un lit dans les ténèbres»^{*}). К моменту его смерти этот издательский дом, «Эдисьон мондиаль», стал важной частью целой империи, занимавшейся разноплановой деятельностью, весьма богатой и авторитетной и ничем

* «Ложе во мраке» (фр.).

не напоминавшей о комиксах, с которых все началось. И вот вдова Дуки Симона учредила фонд, главной задачей которого стало ежегодное вручение одноименной награды.

Премия Чино дель Дуки считается очень престижной во Франции — этот народ вообще обожает вручать награды — не только ввиду ее эклектизма и тщательности в выборе лауреатов, но и вследствие щедрости спонсоров: в частности, в тот год сумма приза составила около 25 тысяч долларов. За предшествующие двадцать лет премия присуждалась Конраду Лоренцу, Алехо Карпентьеру, Жану Аную, Иньяцио Силоне, Андрею Сахарову, Хорхе-Луису Борхесу и одному американцу, Льюису Мэмфорду. (Пока ни одной женщины, отмечают феминистки.) Как американцу мне было трудно не чувствовать себя польщенным оттого, что меня включили в их компанию. Вручение и получение наград обычно вызывает проявление со всех сторон таких нездоровых качеств, как ложная скромность, склонность к злословию, самобичевание и зависть; при этом, с моей точки зрения, есть награды, которые приятно получать, хотя необходимости в этом нет. Премия дель Дуки казалась мне однозначно очень милой наградой, вследствие чего какие-либо дальнейшие самокопания являлись излишними, и я с благодарностью принял ее, в ответ написав, что выполню разумное условие, согласно которому я должен лично присутствовать на цере-

монии. В то время мне представлялось, что это будет необременительная поездка, а не внезапное погружение в прошлое. Если бы я мог предвидеть, как изменится мое душевное состояние по мере приближения даты вручения приза, я бы и вовсе от него отказался.

Депрессия — это душевное расстройство, столь таинственно мучительное и непостижимое для самого человека, его разума, интеллекта, что описать его почти невозможно. Таким образом, те, кто не испытал это состояние в его крайней форме, едва ли способны его понять, хотя уныние и хандра, тоска, которую время от времени ощущают многие, приписывая ее всегдашней спешке, в какой живет современный человек, так распространены, что могут дать некоторое представление о том, как выглядит эта болезнь в ее острой форме. Но в то время, о каком я пишу, я уже давно перешел границу этой всем знакомой и вполне терпимой хандры. В Париже — теперь я ясно это вижу — я переживал критический этап в развитии своей болезни; это был эдакий зловещий промежуточный пункт между еще смутными ее проявлениями раньше, тем летом, и чуть ли не жуткой декабрьской развязкой, в результате которой я попал в больницу. Позже я попытаюсь описать эволюцию болезни, с самых ранних признаков и вплоть до моей госпитализации и последующего выздоровления; при этом поездка в Париж сохраняет для меня особое значение.

В день церемонии вручения наград, которая должна была состояться в полдень и завершиться торжественным обедом, я проснулся поздно утром в своем номере в отеле «Пон рояль», отметил внутренне, что чувствую себя довольно неплохо, поздоровался со своей женой Роуз. При помощи легкого транквилизатора, хальциона, мне удалось побороть ночную бессонницу и несколько часов поспать. Так что я был в хорошем настроении. Однако я знал, что это слабое подобие благодушия, как обычно, лишь видимость и мало что значит, и был уверен в том, что еще до наступления ночи снова буду чувствовать себя ужасно. К тому моменту я уже дошел до тщательного анализа каждой фазы своего губительного состояния. Прежде чем признать факт болезни, я несколько месяцев его отрицал, поначалу приписывая свое недомогание, беспокойство и внезапные приступы тревоги отказу от спиртного: в июне я резко бросил пить виски и все прочие крепкие напитки. Мое эмоциональное состояние постепенно ухудшалось; за это время я прочел некоторое количество литературы, посвященной депрессии: и книги для дилетантов, и увесистые труды специалистов, включая библию психиатров, «Руководство по диагностике и статистике психических расстройств» Американской психиатрической ассоциации. На протяжении большей части своей жизни мне приходилось заниматься самообразованием

в области медицины — не исключено, что это было неразумно с моей стороны, — и я на дилетантском уровне обладал более чем средними знаниями по различным медицинским вопросам (многие мои друзья консультировались со мной — конечно же, опрометчиво), так что меня повергло в изумление то обстоятельство, что я оказался почти совершенным невеждой во всем, что касалось депрессии, которая является столь же серьезной медицинской проблемой, как диабет или рак. Скорее всего уже находясь на начальной стадии депрессии, я всегда подсознательно чуждался подобной информации или игнорировал ее: она слишком явно обнажала сбой в моей психике, — поэтому отвергал ее как лишнее дополнение к моему багажу знаний.

Как бы там ни было, в последнее время, когда депрессивное состояние отпускало меня на несколько часов — достаточно надолго, чтобы я мог позволить себе роскошь сосредоточиться, — я заполнял образовавшийся вакуум чтением довольно большого объема литературы и таким образом открыл для себя множество потрясающих и тревожных фактов, которые, однако, не мог применить на практике. Наиболее крупные специалисты напрямую заявляют, что серьезную депрессию излечить нелегко. В отличие от, скажем, диабета, когда непосредственные меры, способствующие нормализации усвоения организмом глюкозы, могут ради-

кально повлиять на опасный процесс и помочь взять его под контроль, от депрессии на поздних стадиях не существует быстрого действующего лекарства: невозможность облегчения, когда о нем становится известно больному, является одним из самых пагубных факторов, способствующих развитию недуга, и благодаря ему депрессию можно однозначно отнести к категории очень серьезных заболеваний. Если не считать тех болезней, которые заведомо считаются злокачественными или дегенеративными, мы рассчитываем на какое-либо лечение и на то, что благодаря таблеткам, физиотерапии, диете или хирургическому вмешательству рано или поздно наступит улучшение, причем состояние больного будет закономерно прогрессировать от первоначального облегчения симптомов до полного выздоровления. К своему вящему ужасу, человек, страдающий от глубокой депрессии и являющийся в медицине дилетантом, заглянув в некоторые из большого количества соответствующих книг, представленных в настоящее время на рынке, обнаружит там много теории и описания симптомов и очень мало обоснованных указаний на возможность быстрого излечения. Легкий путь обещают лишь несерьезные издания, и по всей вероятности, это обман. Есть вполне пристойные популярные работы, в которых авторы грамотно указывают путь к лечению и ис-

целению, демонстрируя, как ряд терапевтических методов — психотерапия, медикаментозное лечение или их сочетание — действительно способны вернуть людям здоровье за исключением разве что самых устойчивых и тяжелых случаев; однако авторы самых мудрых из этих книг открывают читателям горькую правду: серьезные депрессии не проходят за одну ночь. Все это подчеркивает главную, хоть и неприятную истину, которую я считаю необходимым высказать в начале своей хроники: депрессия — это болезнь, до сих пор остающаяся для нас великой тайной. Она раскрывает свои секреты науке гораздо более неохотно, чем большинство других серьезных недугов, которые постоянно преследуют нас. Напряженные и до смешного непримиримые разногласия в современной психиатрии — раскол между теми, кто верит в психотерапию, и сторонниками фармакологии — напоминают медицинские споры восемнадцатого века (делать кровопускание или не делать) и, по сути, подчеркивают собой необъяснимую природу депрессии и трудность ее лечения. Как честно признался мне один врач, работающий в этой области — я считаю, он мастерски провел аналогию, — «Если сравнивать наши знания с историей открытия Америки Колумбом, то можно сказать, что Америка еще лежит за гранью неведомого,

а мы по-прежнему сидим на маленьком острове Багамского архипелага».

В ходе чтения я выяснил, например, что по крайней мере в одном интересном отношении мой случай — нетипичный. Большинство людей в начале болезни чувствуют себя разбитыми по утрам, причем до такой степени, что не в состоянии встать с постели. Лишь к исходу дня им становится лучше. Однако моя ситуация была диаметрально противоположной. Я мог подняться и практически нормально функционировать на протяжении всей первой половины дня; симптомы начинали проявляться с наступлением вечера или даже позже: меня охватывало уныние, чувство ужаса, психоз, тревога, от которой пресекалось дыхание. Полагаю, по большому счету не имеет значения, страдает ли человек по утрам или вечером: если сами эти мучительные состояния, близкие к параличу, одинаковы — а по всей вероятности, так оно и есть, — вопрос о времени приступов можно считать праздным. Однако, несомненно, именно тот факт, что ежедневный приступ случался у меня в иное время, чем у других, позволил мне в то утро в Париже без происшествий, в более или менее уравновешенном состоянии духа отправиться в празднично украшенный дворец на правом берегу Сены, где располагается фонд Чино дель Дуки. Там, в салоне в стиле рококо, перед немногочисленной аудиторией французских деятелей культуры мне вру-

чили награду, а я произнес благодарственную речь, как мне показалось, со вполне достаточным для ситуации апломбом, заявив, что, поскольку львиную долю премии я собираюсь пожертвовать различным организациям, занимающимся развитием франко-американских добрососедских отношений, включая американскую больницу в Нёйи, должны же быть пределы альтруизму (это было сказано в шутку), и выразил надежду на то, что меня не станут осуждать, если я оставлю небольшой процент себе.

Чего я не сказал — и это вовсе не было шуткой, — так это того, что сумма, которую я намеревался удержать, предназначалась на оплату двух билетов на следующий день на «конкорд», чтобы я мог в срочном порядке вместе с Роуз вернуться в Соединенные Штаты, где еще несколько дней назад договорился о встрече с психиатром. По причинам, как я полагаю, связанным с нежеланием принять реальность, которую мой разум от меня скрывал, я избегал визита к психиатру на протяжении последних нескольких недель, в то время как мои душевные страдания усиливались. Но я знал, что не смогу откладывать эту встречу до бесконечности, и когда наконец все-таки связался по телефону с врачом, которого мне горячо рекомендовали, он посоветовал не отказываться от поездки в Париж, пообещав принять меня, как только я вернусь. И все же я считал, что мне необходимо встре-

титься с ним, и как можно быстрее. Несмотря на очевидное наличие у меня серьезного заболевания, я не желал расставаться с розовыми очками. Как я уже говорил, многочисленная доступная литература о депрессии пронизана духом легкости и оптимизма, в ней утверждается, что почти все депрессивные состояния можно стабилизировать или излечить, подобрав подходящий антидепрессант; конечно же, читателя нетрудно подкупить обещаниями быстрого исцеления. В Париже, произнося свою речь, я страстно желал, чтобы день этот поскорее закончился, и испытывал настоятельную необходимость лететь в Америку, дабы получить возможность посетить врача, который прогонит прочь мою болезнь при помощи своих чудодейственных средств. Я отчетливо помню тот момент, и сейчас мне с трудом верится в то, что я мог питать столь наивную надежду, или, иначе говоря, что я до такой степени не осознавал свою беду и подстергавшую меня опасность.

Симона дель Дука, крупная темноволосая женщина, державшаяся как королева, сначала, понятное дело, не поверила своим ушам, а после пришла в ярость, когда после церемонии награждения я сказал, что не смогу остаться на обед во дворце, на котором должны были присутствовать также члены Французской академии, избравшие меня лауреатом премии. Предлог, выдуманный мной, звучал

одновременно вызывающе и бесхитростно: я прямо сказал, что на этот час у меня назначена встреча в ресторане с моим французским издателем Франсуазой Галлимар. Разумеется, подобное решение с моей стороны было возмутительным: меня и всех прочих участников торжества за несколько месяцев предупредили о том, что этот обед — более того, обед в мою честь, — является частью церемонии. Но на самом деле мой поступок был продиктован болезнью, которая уже зашла достаточно далеко и проявлялась во всей своей полноте, включая такие признаки, как смятение, невозможность сконцентрироваться и провалы в памяти. На следующем этапе мой разум будет представлять собой серию беспорядочных, обрывочных мыслей. Как я уже сказал, в ту пору у меня было двойственное душевное состояние: мнимая ясность в утренние часы и сгущающийся мрак днем и вечером. Вероятно, во власти этой мрачной рассеянности я накануне вечером договорился о ленче с Франсуазой Галлимар, забыв о своих обязательствах по отношению к дель Дуке. Это намерение продолжало полностью затмевать мой разум, повергая в состояние столь упорной решимости, что я отважился, хотя и в мягкой форме, оскорбить достойную Симону дель Дука.

— Alors! — воскликнула она, лицо ее вспыхнуло от ярости, и она величественно развернулась, чтобы уходить: — Au... re-voir!*

* В таком случае... до... свидания! (*фр.*).

А я вдруг ужаснулся, потрясенный, ошеломленный тем, что только что сделал. Я представил себе стол, за которым сидят хозяйка и члены Французской академии, а почетный гость тем временем обедает в «Ла Куполь». И тогда я стал умолять ассистентку мадам, женщину в очках, с папкой в руке и с выражением ужаса на бледном лице, попытаться уговорить их пустить меня обратно: все это было ужасной ошибкой, произошла путаница, *malentendu**. А потом я пробормотал несколько слов — моя прежняя, в целом уравновешенная, жизнь и самодовольная уверенность в своем физическом здоровье мешали мне допустить мысль о том, что я когда-нибудь что-то подобное произнесу; я с ужасом услышал, как прозвучали эти слова, обращенные к совершенно постороннему человеку:

— Я болен, *un problème psychiatrique***.

Мадам дель Дука проявила великодушие: она приняла мои извинения, и обед прошел в непринужденной обстановке, хотя беседа получилась несколько натянутой и я не мог в полной мере избавиться от подозрения, что моя благодетельница по-прежнему смущена моим поведением и считает меня странным типом. Обед длился долго; когда он окончился, я почувствовал, что уже вхожу в область дневного мрака с его нарастающей тревогой и страхом. А меня еще ждала съемочная груп-

* Недопонимание (*фр.*).

** Проблемы с психикой (*фр.*).

па одного из государственных каналов (о них я тоже забыл), чтобы отвезти в недавно открытый музей Пикассо и запечатлеть там, как я разглядываю экспонаты и обмениваюсь впечатлениями с Роуз. Я знал, что это будет не увлекательная прогулка, а борьба, которая потребует от меня много сил, — исключительно суровое испытание. К моменту нашего приезда в музей (на улицах было плотное движение) часы показывали уже начало пятого, и на мое сознание началась привычная атака: паника, растерянность и ощущение, что мой разум накрыла ядовитая и неотвратимая волна, препятствовавшая мне испытывать хоть какую-нибудь радость от окружающей действительности. А если быть точным, то вместо удовольствия — я ведь, конечно, должен был испытывать удовольствие на этой богатой выставке произведений ярчайшего гения — я чувствовал в своей душе нечто очень похожее на настоящую боль, хотя и существовало некоторое отличие, не поддающееся описанию. Здесь мне снова придется затронуть вопрос о трудноопределимой природе данного недуга. Выражение «не поддается описанию» здесь не случайно: следует подчеркнуть, что если бы эту боль можно было без труда описать, то люди, страдающие этим недугом, могли бы весьма точно сообщить своим друзьями и любимым (и даже врачам) некоторые реальные характеристики своей муки — и, быть может, способствовать пониманию проблемы,

которого нам так не хватает. Ведь именно непониманием объясняется не только отсутствие сочувствия со стороны окружающих, но и полная неспособность здоровых людей представить себе муку, столь чуждую их привычным повседневному переживанию. По мне, боль была больше всего похожа на то, как если б я тонул или задыхался, но даже этот образ не попадает в цель. Уильям Джеймс, много лет сражавшийся с депрессией, оставил попытки адекватно изобразить свои ощущения и в книге «Многообразие религиозного опыта» высказался в том ключе, что осуществить данную задачу почти невозможно: «Это явно ощутимая, деятельная тревога, что-то вроде психической невралгии, полностью неведомой в обычной жизни».

На протяжении всей экскурсии по музею боль усиливалась и через несколько часов достигла своего апогея; вернувшись в отель, я рухнул на кровать и остался лежать там, уставившись в потолок, будучи почти не в силах пошевелиться, в состоянии транса и сильнейшей тревоги. В такие периоды я обычно утрачивал способность к рациональному мышлению — отсюда определение «транс». Я не могу подобрать более подходящего слова для описания своих ощущений — состояния беспомощного ступора, в котором сознание замещалось вот этой «явно ощутимой, деятельной тревогой». Одним из самых невыносимых аспектов этого этапа была невозмож-

ность заснуть. Почти всю жизнь, как у многих других людей, у меня была привычка после обеда погружаться в легкую успокоительную дрему, однако одно из пагубных свойств депрессии — нарушение нормального режима сна; к ночной бессоннице, доставлявшей огромный урон моему организму, присовокуплялась невозможность вздремнуть днем — не столь большая беда по сравнению с предыдущей, но все же ужасная, поскольку приходилась она как раз на часы самых интенсивных мучений. Я давно уже уяснил, что мне никогда не будет облегчения от этого непрерывного истязания даже на несколько минут. Я отчетливо помню, как подумал — я лежал на диване, Роуз сидела рядом и читала, — что мое состояние днем и вечером заметно ухудшется, и что тот эпизод пока что был самым скверным. Но мне каким-то образом удалось договориться о совместном ужине с Франсуазой Галлимар — с кем же еще? — которая, как и Симона дель Дука, стала жертвой ужасной накладки, произошедшей сегодня днем. Вечер был промозглый и ненастный. На улице порывами дул ледяной влажный ветер, а когда мы с Роуз встретились с Франсуазой, ее сыном и еще одним приятелем в «Ла Лоррэн», маленьком, сверкающем множеством огней ресторанчике неподалеку от площади Этуаль, уже шел проливной дождь. Кто-то из присутствующих, почувствовав мое душевное состояние, высказал сожаления по поводу погоды,

но мне, помнится, подумалось, что, если б даже это был один из тех теплых, благоуханных и полных страсти вечеров, коими славится Париж, я бы все равно воспринимал его как зомби, в которого к тому времени превратился. В душе, пораженной депрессией, погода неизменна — в ней никогда не бывает солнца.

И вот, пребывая в этом состоянии зомби, где-то в середине ужина я потерял чек на двадцать пять тысяч долларов, выданный мне в качестве премии дель Дука. Я сунул чек во внутренний карман пиджака, и теперь, невзначай проведя рукой по этому месту, осознал, что чек пропал. «Намеренно» ли я потерял деньги? Не так давно меня беспокоила мысль о том, что я, быть может, недостойн этих денег. Я верю в то, что многие случайные события мы навлекаем на себя сами, так что эта утеря легко могла оказаться не утерей, а способом отказаться от приза, проявлением того отвращения к себе (оно является первым признаком депрессии), которое говорило мне, что я недостойн награды, что я, в сущности, вообще недостойн того признания, какое мне оказывали в последние годы. Какова бы ни была причина, но чек пропал и его утеря отлично дополняла прочие неудачи того вечера: мне не удалось вызвать в себе аппетит к огромному *plateau de fruits de mer*^{*}, стоявшему передо мной, не удалось исторгнуть из себя хотя бы натужный смех и, нако-

* Блюдо из морепродуктов (*фр.*).

нец, не удалось заставить себя вести беседу. К тому времени чудовищная сосредоточенность на своих переживаниях, свойственная этой болезни, повергла меня в жуткую рассеянность, и в результате я не мог выдать членораздельных слов, а лишь сипло бормотал что-то несвязное; я понимал, что взгляд мой постепенно останавливается, речь становится односложной, и сознавал, что мои французские друзья постепенно начинают догадываться о моих проблемах и беспокоиться. Происходящее уже смахивало на сцену из дешевой оперетты: мы все нагнулись и разыскивали пропавшие деньги. Как раз в тот момент, когда я сказал, что пора уходить, сын Франсуазы обнаружил чек, каким-то образом выскользнувший из моего кармана и упорхнувший под соседний столик, — после чего мы вышли на улицу, в дождливую ночь. Потом, в машине, я размышлял об Альбере Камю и Ромене Гари.

2

Когда я был начинающим писателем, на определенном этапе Камю, пожалуй, более, чем кто-либо еще из литературных фигур современности, задавал тон моему видению жизни и истории. Я прочел его «Постороннего» несколько позже, чем следовало, в тридцать с небольшим, и испытал внезапное про-

зрение, как бывает после чтения книги писателя, которому удалось сочетать глубину содержания с великой красотой стиля и чье ясное видение мира способно испугать до глубины души. Космическое одиночество Мерсо, героя этой повести, до такой степени не давало мне покоя, что, принимаясь писать «Признания Ната Тернера», я почувствовал настоятельную необходимость использовать прием Камю: вложить историю в уста рассказчику, заключенному в тюремной камере, за несколько часов до смертной казни. Для меня между холодным одиночеством Мерсо и бедственным положением Ната Тернера — бунтовщика, опередившего его в истории лет на сто, сходным образом приговоренного и покинутого людьми и Богом, — была духовная связь. Эссе Камю «Размышления о гильотине» — поистине уникальный в своем роде документ, логика которого подобна огню и страшит; трудно представить себе, чтоб даже самый яростный сторонник смертной казни остался при своем мнении, после того как ему открыли жестокую правду с такой страстью и такой точностью. Я знаю, что это произведение изменило навсегда мой образ мыслей, не только полностью перевернув мое мировоззрение, убедив меня, что высшая мера наказания, по сути, варварство, но и выработав в моем сознании базовые принципы в отношении вопросов ответственности вообще. Камю очень хорошо очистил мой разум, ос-

вободив его от бесчисленного количества застойных идей, и через самый тягостный пессимизм, какой я когда-либо встречал, снова возродил меня для загадочных обещаний нашей жизни.

Досада, которую я всегда испытывал по поводу того, что не был знаком с Камю лично, отягчалась тем обстоятельством, что наша встреча чуть было не состоялась. Я планировал увидеться с ним в 1960 году; когда я собирался во Францию, писатель Ромен Гари сообщил мне в письме, что он намерен устроить в Париже обед и там может представить меня Камю. Гари, писатель огромного дарования — в ту пору мы были едва знакомы, а после стали близкими друзьями — сообщил мне, что Камю, с которым он часто виделся, очень понравился мой роман «Уйди во тьму», разумеется, мне это сильно польстило, и обед с этим человеком я предвкушал как выдающееся событие. Но прежде чем я прибыл во Францию, случилось страшное: Камю попал в автомобильную катастрофу и погиб в чудовищно раннем возрасте: ему было на тот момент всего сорок шесть лет. Почти никогда я так остро не ощущал утрату человека, с которым не был знаком лично. Я не переставал думать о его смерти. Хотя Камю не сам сидел за рулем, он, по-видимому, знал, что водитель, сын его издателя, — маньяк скорости; так что в этой аварии был некий элемент безрассудства, с подтекстом чуть ли не самоубийства,

по крайней мере заигрывания со смертью, и обстоятельства происшествия неизбежно отсылали к теме самоубийства в произведениях писателя. В самом начале «Мифа о Сизифе» находим одно из самых знаменитых изречений нашего века: «Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема — проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, — значит ответить на фундаментальный вопрос философии». Прочитав эти строки в первый раз, я пришел в замешательство, которое не покидало меня на протяжении большей части эссе, поскольку, несмотря на убедительную логику и красноречие автора, многое ускользало от моего понимания и я все время возвращался к изначальному тезису, тщетно пытаюсь его осознать: прежде всего у меня никак не получалось принять допущение о том, что каждый должен прийти до желания убить себя. Следующая повесть, «Падение», мне понравилась, но с некоторыми оговорками: история адвоката, который исповедуется в своей вине и сам себя за нее осуждает, его мрачный и довольно нудный монолог в амстердамском баре — все это казалось несколько чрезмерным и аляповатым, но в то время я еще не имел возможности заметить, что этот адвокат ведет себя очень похоже на человека, страдающего от клинической депрессии. До такой степени я не подозревал даже о самом существовании этой болезни.

Как рассказывал мне Ромен, Камю сам иной раз упоминал о своем глубоком состоянии подавленности и заводил речь о самоубийстве. Иногда он говорил это в шуточной форме, но у его шуток был привкус скисшего вина, и это огорчало Ромена. Однако попыток покончить с собой он вроде бы не делал, поэтому не случайно, несмотря на то что основной тон повествования — тоска, в основе «Мифа о Сизифе» лежит ощущение торжества жизни над смертью и суровая идея: в отсутствие надежды мы все равно должны бороться за выживание, что мы и делаем — из последних сил. Лишь через несколько лет я заподозрил, что высказывание Камю о самоубийстве и вообще его интерес к этому вопросу, быть может, являются следствием постоянного душевного расстройства — по крайней мере в той же мере, что и результатом его этических и эпистемологических поисков. Гари еще раз высказывал мне свои предположения по поводу депрессии Камю, когда я пустил его пожить у себя в Коннектикуте в гостевом домике, а сам приехал к нему в гости на выходные с острова Мартас-Винъярд, где проводил каждое лето. В ходе нашей беседы мне начало казаться, что Ромен утвердился в кое-каких своих предположениях о серьезности приступов отчаяния у Камю, после того как сам стал страдать от депрессии, в чем он, не таясь, признался. Он заверил меня, что его болезнь не делает его беспомощным, не вы-

водит полностью из строя, что он контролирует ее, однако время от времени ощущает в душе это тягостное, губительное настроение цвета яри-медянки, столь нелепое среди роскошного буйства зелени в середине лета в Новой Англии. Русский еврей, родившийся в Литве, Ромен, казалось, всегда пребывал во власти восточноевропейской тоски, так что разницу трудно было заметить. Тем не менее он страдал. Он сказал, что обнаружил у себя отголоски того отчаянного состояния души, которое описывал ему Камю.

Положение Гари едва ли облегчало присутствие его жены Джин Сиберг, актрисы, уроженки Айовы, с которой они были в разводе и, как мне казалось, давно уже стали чужими друг другу. Как мне сообщили, она туда приехала, потому что их сын Диего отдыхал в расположенном поблизости теннисном лагере. Поскольку я считал, что они друг другу чужие, я был удивлен тем, что она живет вместе с Роменом, а еще удивлен — нет, шокирован и опечален — тем, как она выглядела: вместо прежней хрупкой, излучающей свет светловолосой красавицы я видел перед собой тучную женщину с раздутым лицом. Она двигалась как лунатик — и это еще слабо сказано, — у нее был отсутствующий взгляд человека, употребляющего транквилизаторы (или наркотики, или и то и другое), почти впавшего в столбняк. Я понял, что они по-прежнему очень привязаны друг к другу, меня тронула

его заботливость, нежная и при этом отеческая. Ромен рассказал мне, что Джин проходит курс лечения от той же самой болезни, от какой страдает он сам, и упомянул какие-то антидепрессанты, но его проблемы не произвели на меня особого впечатления, для меня все это мало что значило. Важно подчеркнуть мое тогдашнее относительное равнодушие, потому что это равнодушие хорошо показывает невозможность для человека, не испытывавшего на себе эту болезнь, понять ее суть. Для меня болезнь Камю и Ромена Гари — и уж конечно, Джин, была каким-то абстрактным недомоганием, при всем моем сочувствии; я не имел ни малейшего представления о ее чертах или о природе боли, которую испытывают многочисленные жертвы этой напасти, в то время как их разум продолжает незаметно угасать.

Но тем октябрьским вечером в Париже я уже знал, что мой разум тоже угасает. И по дороге в отель, в машине, меня вдруг осенило. Похоже, что во многих, если не в большинстве случаях депрессии имеет место нарушение циркадного цикла — суточных биоритмов нашего метаболизма и работы желез, имеющих первостепенное значение в нашей жизни; вот почему часто начинается жестокая бессонница, и скорее всего по той же причине ежедневная схема проявлений заболевания содержит вполне предсказуемые чередующиеся периоды приступов и облегчения.

Вечернее облегчение — неполное, но все же заметное послабление, подобное перемене от обильного ливня к ровному сильному дождю, — для меня наступало где-то между ужином и полночью: боль немного отпускала, и мой разум становился достаточно ясным, чтобы концентрироваться на явлениях, лежащих за пределами мучений, только что сотрясавших мой организм. Разумеется, я ждал наступления этого периода с нетерпением, ведь иногда в такие моменты у меня возникало ощущение, что разум мой почти здоров, и вот в тот вечер в машине я сознавал по некоторым признакам, что ясность возвращается, а вместе с ней — способность мыслить рационально. Однако, несмотря на то что я оказался способен вспомнить о Камю и Ромене Гари, мои дальнейшие умозаключения были не слишком утешительными.

При мысли о Джин Сиберг мое сердце сжалось от грусти. Спустя чуть больше года после нашей встречи в Коннектикуте она приняла слишком большую дозу таблеток, и ее нашли мертвой в машине, припаркованной в тупиковом ответвлении одной из парижских авеню, где ее тело пролежало много дней. В следующем году я сидел вместе с Роменом в кафе «Липп», и в ходе долгого обеда он рассказал мне, что, несмотря на трудности между ним и Джин, эта утрата до такой степени усугубила его депрессию, что время от времени он чувствует себя почти беспомощным.

Но даже тогда я был не в состоянии понять природу его тревоги. Я вспомнил, что его руки дрожали, и хотя он едва ли мог считаться стариком — ему было шестьдесят с небольшим, — голос его звучал по-старчески сипло; теперь, много лет спустя, я осознал, что, вероятно, это был голос депрессии: в разгар мучительного недуга у меня самого появился такой голос. Я никогда больше не видел Романа. Клод Галлимар, отец Франсуазы, рассказал мне о том, как в 1980 году, после такого же ленча, под разговор двух старых друзей: спокойный и непринужденный, даже легкомысленный — в общем, какой угодно, но только не мрачный, — Ромен Гари, дважды лауреат Гонкуровской премии (одну из этих наград он получил под псевдонимом, весело обведя вокруг носа критиков), герой Республики, почетный обладатель Военного креста, дипломат, весельчак, влюбленный в жизнь, большой любитель женщин, вернулся домой, в свою квартиру на улице дю Бак и пустил себе пулю в голову.

В какой-то момент среди этих размышлений перед моими глазами промелькнула вывеска «Отель “Вашингтон”», пробуждая воспоминания о том времени, когда я только-только приехал в Париж, а заодно я вдруг отчетливо осознал, что больше никогда не увижу этот город. Подобная уверенность поразила меня и наполнила душу новым ужасом, поскольку, хоть во время своей тягостной болез-

ни я уже давно привык к мыслям о смерти, пронесившимся в моем сознании, подобно ледяным порывам ветра, они были лишь бесформенными тенями, смутными образами, которые, я думаю, являются любому, кто страдает от тяжелого недуга. Но сейчас все выглядело иначе: во мне созрела уверенность, что завтра, когда боль явится снова, или послезавтра — в общем, наверняка где-то в недалеком будущем — я неминуемо приду к заключению, что жизнь не стоит того, чтобы ее прожить, тем самым ответив, по крайней мере для себя, на ключевой вопрос философии.

3

Для многих из тех, кто знал Эбби Хоффмана хотя бы как я, поверхностно, его смерть весной 1989 года стала горестным событием. В свои пятьдесят с небольшим он был слишком молод и выглядел слишком полным жизни для такой развязки; известие о самоубийстве любого человека вызывает чувство скорби и ужаса, но смерть Эбби показалась мне особенно жестокой нелепицей. Я познакомился с ним в бурные дни и ночи Демократической конвенции в Чикаго, куда поехал, чтобы написать статью для «Нью-Йоркского книжного обозрения». Позже я выступал одним из свидетелей в защиту Эбби и его сторонников в суде, тоже в Чикаго, в 1970 году.

Среди благочестивого безумия и мягких извращений американской жизни его абсурдные выходки будоражили, этот распущенный стиль поведения, этот жар, этот анархический индивидуализм невольно вызывал восхищение. Я жалею, что так мало виделся с ним в последние годы; его внезапная смерть оставила во мне ощущение особой пустоты, какую любой чувствует, узнав о чьем-нибудь самоубийстве. Но это событие воспринималось особенно остро: многие отказывались мириться со случившимся, отрицали факт самоубийства, как будто такого рода намеренное действие — в отличие от несчастного случая или смерти от естественных причин — имеет оттенок преступления, неким образом принижает человека и его характер.

По телевидению выступил брат Эбби, убитый горем, как будто помешавшийся; его попытка отрицать самоубийство не могла не вызвать сочувствия — он настойчиво утверждал: мол, Эбби ведь, в конце концов, всегда неаккуратно обращался с таблетками, но он бы смог причинить такую боль семье. Однако следователь подтвердил, что Хоффман принял не меньше ста пятидесяти таблеток фенобарбитала. Вполне естественно, что близкие жертв суицида часто отказываются принять правду; чувство соучастия, личная вина — мысль о том, что несчастье можно было предупредить, предприняв соответствующие действия, поведя себя как-то иначе, — все это, вероятно, неизбежно.

При этом пострадавший — действительно ли он покончил с собой, совершил попытку или только угрожал — вследствие этого отрицания со стороны окружающих несправедливо кажется чуть ли не преступником.

Подобные черты прослеживаются в истории Рэндалла Джаррела, одного из лучших поэтов и критиков своего поколения, которого в 1965 году однажды ночью в окрестностях Чапел-Хилла (Северная Каролина) насмерть сбила машина. Непонятно было, что Джаррел делал в том месте дороги в такой час, и, поскольку некоторые обстоятельства указывали на то, что он сознательно бросился под машину, его смерть признали самоубийством. «Ньюсуик» наряду с другими изданиями придерживался этой версии, однако вдова Джаррела заявила протест в письме, отправленном в редакцию журнала; многие его друзья и поклонники подняли шум и крик, и коллегия присяжных в конце концов постановила, что смерть произошла в результате несчастного случая. Джаррел страдал от тяжелой формы депрессии и даже лежал в стационаре; всего за несколько месяцев до трагедии на шоссе он пытался перерезать себе вены.

Любой, кому известны неровные контуры судьбы Джаррела — в том числе его резкие перепады настроения, приступы черного уныния, — и кто имеет базовые понятия о признаках депрессии, всерьез усомнился бы в пра-

вильности вердикта присяжных. Однако печаль добровольного ухода из жизни — для многих людей ненавистное пятно, которое нужно стереть любой ценой. (По прошествии более двух десятилетий после его смерти, летом 1986 года, в выпуске «Американского учебного» бывший студент Джаррела в рецензии на сборник писем поэта не столько анализировал его творчество и биографию, сколько в очередной раз пытался откреститься от зловещего призрака самоубийства.)

Почти нет сомнений в том, что Рэндалл Джаррел покончил с собой. Он поступил так не потому, что был трусом, и не вследствие душевной слабости, а потому, что страдал от депрессии — столь разрушительной, что он уже не мог больше выносить причиняемую ею боль.

Общее непонимание сути депрессии, по видимому, имело место и в случае Примо Леви, замечательного итальянского писателя, пережившего Аушвиц, который в возрасте шестидесяти семи лет бросился с лестницы в Турине в 1987 году. Поскольку я сам стал жертвой этой болезни, смерть Леви заинтересовала меня особенно, так что в конце 1988 года, читая в «Нью-Йорк таймс» отчет о симпозиуме в Нью-Йоркском университете, посвященном жизни и творчеству писателя, я сначала обрадовался, но потом пришел в смятение. Ведь, согласно статье, многих участников симпозиума, многомудрых писателей и

ученых, смерть Леви поставила в тупик — и разочаровала. Как будто этот человек, которым все они так восхищались, который так много вынес, побывав в руках у нацистов, человек исключительной стойкости и мужества, своим самоубийством проявил слабость, и этот факт они не желали принять. Перед лицом ужасной реальности — самоубийства — они чувствовали свою беспомощность и (при чтении статьи это бросалось в глаза) некоторую долю стыда.

Я был так сильно раздосадован всем этим, что даже написал короткую статью на страницу публицистики в «Таймс». Там я высказывал вполне однозначную точку зрения: страдания, вызванные тяжелой депрессией, человек, не испытывавший их, вообразить не способен, и очень часто эти страдания подталкивают человека к уходу из жизни, потому что эта мука в какой-то момент становится нестерпимой. И произойдет еще много самоубийств, совершению которых мы по-прежнему не сможем помешать, до тех пор пока существует всеобщее непонимание природы этой болезни. Многие люди справляются с депрессией благодаря лечебному действию времени — во многих случаях при этом требуется госпитализация, — и, возможно, это единственный путь к избавлению; однако есть еще легион тех, кого, как ни прискорбно, недуг вынуждает к саморазрушению, и упрекать их оснований не больше, чем больных в конечной стадии рака.

В этой статье для «Таймс» я изложил свои мысли наспех и весьма стихийно, но ответ тоже был стихийным — и принял огромные масштабы. Я полагал, что не проявил никакой особой оригинальности или храбрости, откровенно заговорив о самоубийстве и побуждении к нему, но, по-видимому, я недооценил, сколь огромно количество людей, для которых данная тема ранее являлась табу, предметом тайны и стыда. Этот непомерный отклик заставил меня понять: я нечаянно отпер сундук, откуда множество душ жаждали вырваться наружу, чтобы заявить во всеуслышание, что они тоже испытывали описанные мною чувства. В тот момент единственный раз в жизни я подумал, что не зря затронул сферу своих личных переживаний и сделал эти переживания достоянием общественности. И мне показалось, что, ввиду такого ажиотажа, имея на руках свой парижский опыт в качестве детального примера того, что происходит во время депрессии, я мог бы, к всеобщей пользе, зафиксировать кое-что из моего собственного опыта, связанного с болезнью, и в процессе, быть может, вывести некую систему координат, при помощи которой можно будет сделать один или несколько ценных выводов. Следует подчеркнуть, что мои выводы основаны на событиях, случившихся с одним конкретным человеком. Приступая к анализу, я вовсе не считаю, что суровое испытание, перенесенное мной, является точным

отображением того, что происходит или может произойти с другими. Депрессия — слишком сложное явление в том, что касается ее причин, симптомов и лечения, чтобы из опыта одного человека можно было сделать какие-то общие выводы для всех. Хотя как болезнь депрессия характеризуется некоторыми неизменными чертами, она также допускает множество индивидуальных особенностей; меня поразили некоторые пугающие явления — о которых не сообщают другие пациенты, — созданные ею в извилистых коридорах лабиринта моего сознания.

Миллионы людей мучаются от депрессии непосредственно, у миллионов ее жертвами становятся родственники или друзья. По статистике, из десяти американцев один страдает от этого заболевания. Напористое демократичное, оно разит всех, не разбирая возраста, расы, вероисповедания и класса; впрочем, для женщин риск значительно выше, чем для мужчин. Список профессий пациентов (портные, капитаны барж, повара суши-баров, члены кабинетов министров) слишком длинный и нудный, чтобы приводить его здесь; достаточно сказать, что лишь очень небольшое количество людей не попадает в категорию потенциальных жертв этого недуга — по крайней мере в его самой легкой форме. Несмотря на разнохарактерную сферу охвата болезни, можно сказать, что люди искусства (прежде всего,

поэты) особенно для нее уязвимы, — в самой тяжелой, клинической форме она более чем у двадцати процентов своих жертв приводит к самоубийству. Вот печальный и славный перечень, куда вошли лишь немногие из этих художников; все они представители культуры двадцатого века: Харт Крейн, Винсент ван Гог, Вирджиния Вулф, Аршиль Горки, Чезаре Павезе, Ромен Гари, Вэчел Линдсей, Сильвия Плат, Анри де Монтерлан, Марк Ротко, Джон Берримен, Джек Лондон, Эрнест Хемингуэй, Уильям Инге, Диана Арбус, Тадеуш Боровский, Пауль Целан, Энн Секстон, Сергей Есенин, Владимир Маяковский — и этот список можно продолжить. (Русский поэт Маяковский резко осудил аналогичный поступок своего великого современника Есенина за несколько лет до собственной смерти; это должно послужить предостережением для тех, кто скор в суждениях по поводу самоубийства.) Размышляя об этих мужчинах и женщинах, обладавших блестящим талантом и столь трагически окончивших свои дни, необходимо проанализировать их детство, где, как всем нам хорошо известно, обычно следует искать зерна болезни: подозревал ли кто-нибудь из них в ту пору, насколько брэнна человеческая душа, насколько она непрочна? И почему они погибли, в то время как другие — пораженные тем же недугом — сумели побороть его?

Впервые осознав, что нахожусь во власти болезни, я, помимо прочего, почувствовал необходимость возмутиться термином «депрессия». Большинству людей известно, что депрессия ранее именовалась меланхолией — в английском языке соответствующее слово появилось в 1303 году, и несколько раз фигурирует у Чосера, который, используя его, похоже, был в курсе патологических особенностей данного явления. «Меланхолия» и по сей день выглядит как более подходящее и точное слово для обозначения наиболее тяжелых форм этого расстройства, но место уже захвачено существительным с невыразительным звучанием, лишенным какого-либо веса, нейтральным термином, использующимся для обозначения экономического спада или углубления в земле^{*}; в общем, это крайне безликое наименование для столь серьезной болезни. Возможно, у ученого, которого обычно считают ответственным за ввод данного термина в современный обиход, по заслугам уважаемого профессора Школы медицины университета Джона Хопкинса, психиатра Адольфа Мейера, швейцарца по происхождению, просто не было слуха к тонкостям ритмики английского языка, и потому он не осознавал, какой семантический урон нанес, пред-

* В английском языке слово depression означает также «впадина» или «низина».

ложив вариант «депрессия» для описания столь ужасной и свирепой болезни. Тем не менее более семидесяти пяти лет назад слово проползло в язык, безобидно, как слизняк, мало чем проявляя сопряженную с ним опасность и самой своей пресностью мешая людям осознать всю чудовищную силу болезни, когда она выходит из-под контроля.

Сам будучи жертвой этого недуга в его крайней форме, вернувшись оттуда, чтобы рассказать свою историю, я бы предложил какое-нибудь наименование, действительно поражающее воображение. Существительное «brainstorm»* уже занято, оно, отчасти в шутку, обозначает умственное вдохновение. Но нужно что-то из этой серии. Услышав, что чье-то душевное расстройство переросло в бурю — самую настоящую ревущую грозу в мозгу, которую клиническая депрессия действительно больше всего напоминает, — даже несведущий дилетант, пожалуй, выразит сочувствие вместо стандартной реакции, которая возникает при употреблении слова «депрессия», что-то вроде: «Ну и что?», или «Ты справишься», или «У всех у нас бывают скверные дни». Выражение «нервное расстройство», кажется, постепенно выходит из употребления, и, разумеется, заслуженно, ввиду того что ассоциируется с не-

* Досл.: «буря в мозгу»; означает в современном языке «мозговой шторм»; ранее использовалось в значении «умопомешательство».

кой бесхребетностью*, но нам по-прежнему придется довольствоваться словом «депрессия» до тех пор, пока не будет придуман лучший, более выразительный термин.

Охватившая меня депрессия не принадлежала к маническому типу — тому, признаками которого является ночная эйфория, — хотя скорее всего болезнь проявилась бы именно так, если бы пришла ко мне в молодости. Но мне было шестьдесят, когда она нанесла свой первый мощный удар, сразу же сбивший меня с ног. Я никогда не узнаю, что «вызвало» мою депрессию, как никто никогда не узнает причин своего заболевания, — настолько сложно переплетаются здесь в качестве факторов отклонения в области химии, поведения и генетики. Коротко говоря, задействовано множество составляющих — вероятно, три или четыре, вполне возможно, что больше, в непостижимой компоновке. Вот почему распространенное мнение о том, что существует один-единственный точный ответ — или, как вариант, совокупность ответов — на вопрос о том, почему человек совершил такой поступок, — это огромное заблуждение.

Неизбежный вопрос: «Почему он (или она) это сделал?» — обычно приводит к причудливым спекуляциям, по большей части тоже яв-

* В английском выражению «нервное расстройство» соответствует словосочетание «nervous breakdown», досл.: «нервный слом (поломка, распад)».

ляющимса заблуждениями. Догадки о причинах смерти Эбби Хоффмана были высказаны сразу же: последствия перенесенной автомобильной катастрофы, провал его последней книги, тяжелая болезнь матери. В случае Рэндалла Джаррела говорили о закате карьеры, который провозгласил автор ругательной рецензии, и о тревоге, вызванной этой статьей. Прямо Леви, по слухам, угнетала необходимость ухаживать за парализованной матерью — более обременительная для его души, чем то, что он пережил в Аушвице. Любой из этих факторов мог быть постоянной пыткой для каждого из троих. Подобные отягчающие обстоятельства часто играют решающую роль, и ими не следует пренебрегать. Но ведь множество людей спокойно сносит все то же самое: оскорбления, закат карьеры, неблагоприятные рецензии, болезни членов семьи. Огромное большинство тех, кто выжил в Аушвице, не сломались. Истекая кровью и сгибаясь под давлением жизненных тягот, большинство людей все-таки нетвердыми ногами продолжают свой путь, не поддаваясь депрессии. Чтобы понять, почему некоторые погружаются в водоворот этого недуга, способного утянуть на самое дно, нужно заглянуть глубже, не ограничиваться очевидными объяснениями — и все равно ничего не получится, кроме правдоподобных догадок.

Буря, загнавшая меня в декабре в больницу, началась в июне с маленького облачка раз-

мером с бокал вина. Этим облачком был алкоголь — я злоупотреблял им на протяжении сорока лет. Подобно огромному множеству американских писателей, чье иной раз фатальное пристрастие к алкоголю столь прочно вошло в легенду, что само по себе стало предметом целого ряда исследований и книг, я использовал алкоголь в качестве волшебного снадобья, открывающего путь в мир фантазии и эйфории и усиливающего воображение. Нет смысла испытывать угрызения совести или, наоборот, оправдывать употребление мной этого вещества, приносящего покой и часто возвышающего над действительностью, которое очень сильно повлияло на мое творчество; хотя я ни разу не написал ни строчки под его непосредственным воздействием, я использовал его — часто в совокупности с музыкой — средства, вызывающего видения, доступа к которым нет у неизменного, трезвого сознания. Алкоголь был бесценным старшим товарищем моего разума, а кроме того, другом, к чьей поддержке я ежедневно прибегал — в том числе, как я теперь вижу, — для того, чтобы утишить тревогу и зачатки ужаса, столь долго скрываемые где-то в дальних башнях рассудка.

Беда в том, что в начале того лета меня предали. Удар был нанесен внезапно, почти за одну ночь: я больше не мог пить. Как будто организм устроил протест, заодно с разумом, и вместе они сговорились отвергать ежеднев-

ную ванну для настроения, которую так долго благосклонно принимали и — кто знает? — может быть, она даже стала для них насущной необходимостью. Многие из тех, кто прежде много пил, с возрастом испытывали подобное отторжение. Подозреваю, кризис хотя бы отчасти объяснялся метаболизмом: печень взбунтовалась, как будто говоря: «Хватит, хватит!» — во всяком случае, я обнаружил, что алкоголь даже в минимальных количествах — хотя бы глоток вина — вызывает у меня тошноту, необоримые и очень неприятные головокружение и слабость, ощущение, будто я куда-то падаю, и, наконец, явное отвращение. Друг и утешитель покинул меня не постепенно и неохотно, как поступил бы истинный друг, а в одночасье — и я остался один-одиношечек, не зная, куда плыть дальше.

Я стал трезвенником не по собственной воле и не в результате свободного выбора; такое положение вещей меня озадачило, но, кроме того, оно доставляло болезненные ощущения, и начало своего депрессивного настроения я отношу как раз к началу этого периода воздержания. По логике, стоило обрадоваться тому, что тело так стремительно отказалось от вещества, подтачивающего его здоровье; как будто организм сам стал вырабатывать что-то вроде антабуса*, и мне полагалось со счастливым видом отправиться восвояси, радуясь тому, что каприз природы избавил меня

* Препарат для лечения от алкоголизма.

от пагубной зависимости. Но вместо этого я начал испытывать какой-то смутный дискомфорт и недомогание, меня не покидало ощущение, будто что-то пошло наперекосяк в моей домашней вселенной, где я так долго обитал, где мне было так уютно. Хотя депрессия нередко случается с людьми, когда они бросают пить, обычно в этих случаях она не принимает угрожающих размеров. Однако не следует забывать, как многообразны ее лица.

Сначала меня ничто не тревожило, так как новый образ жизни был вполне приемлем, однако я заметил, что окружающий мир временами приобретал непривычные оттенки: с наступлением ночи мрак казался более густым, по утрам я уже чувствовал себя менее жизнерадостным, прогулки в лесу таили в себе меньше прелести, а в рабочие часы, ближе к обеду, был момент, когда меня охватывало какое-то беспокойство, нечто вроде паники — всего на несколько минут, и сопровождалось это неприятными ощущениями в животе средни тошноте — в общем, эти приступы меня лишь немного тревожили. Сейчас, излагая письменно эти воспоминания, я понимаю: еще тогда мне следовало догадаться, что я попал во власть душевного расстройства, — однако в то время подобное состояние было мне совершенно неведомо.

Размышляя об этих любопытных изменениях моего внутреннего состояния — а временами оно настолько озадачивало меня, что

я задумывался, — я приходил к выводу, что все это каким-то образом связано с моим выпущенным воздержанием от алкоголя. И конечно, доля правды в этом была. Но сейчас я убежден, что алкоголь в тот момент, когда мы с ним распрощались, сыграл со мной дурную шутку: хотя общеизвестно, что он является сильным депрессантом, он на самом деле никогда не ввергал меня в состояние подавленности за все время моего к нему пристрастия, зато выполнял функции щита против тревоги. Но вот он внезапно исчез, этот удобный союзник, так долго державший моих демонов взаперти, и, когда его не стало, ничто уже не мешало этим демонам роем устремиться в мое подсознание, а я стоял перед ними эмоционально голым, уязвимым, как никогда прежде. Вне всякого сомнения, депрессия годами подстерегала меня, дожидаясь момента, когда можно будет атаковать. И вот я уже находился на первом ее этапе — предварительном, подобном едва различимым проблескам зарницы, предвещавшей черную бурю депрессии.

В то лето, прекрасное, как никогда, я находился на острове Мартас-Винъярд, где проводил большую часть времени с 1960-х годов. Но красоты острова теперь оставляли меня более равнодушным. Я ощущал своего рода онемение, расслабленность и, что более характерно, странную хрупкость — как будто мое тело действительно стало непрочным,

сверхчувствительным, а еще почему-то пропала слаженность в движениях, я стал неуклюжим, утратил нормальную координацию. Вскоре я уже попал во власть всеобъемлющей ипохондрии. В моем теле не осталось ни одного органа, где бы все было абсолютно в порядке: судороги, боль — бывало, они то появлялись, то исчезали, бывало, мне казалось, что они уже не пройдут, и тогда мне представлялось, будто они являются предзнаменованиями всевозможных ужасных болезней. (Учитывая эти признаки, можно понять, почему уже в семнадцатом веке — в записках врачей того времени, в трудах Джона Драйдена и ему подобных, — меланхолия связывается с ипохондрией; часто эти слова заменяют друг друга, именно в таком контексте их вплоть до девятнадцатого века использовали столь различные писатели, как сэр Вальтер Скотт и сестры Бронте, тоже соотносившие меланхолию с боязнью физических болезней.) Легко догадаться, что подобное явление — часть защитного механизма разума: он не желает признавать, что сам подвергается постепенному разрушению, и сообщает сознанию: сбой произошел в теле, чьи повреждения, вероятно, всегда можно исправить, а не в драгоценном и незаменимом мозгу.

В моем случае общий эффект получился весьма пугающим и усилил тревогу, которую я теперь всегда испытывал во время бодрствования и которая породила еще одну странную

особенность поведения: неутомное безрас-
судство, поддерживавшее меня в движении, к
некоторому недоумению родственников и
друзей. Однажды, в конце лета, в самолете по
дороге в Нью-Йорк, я по ошибке, неосторож-
но выпил виски с содовой — впервые за мно-
го месяцев пригубил спиртное. В результате
меня немедленно стало выворачивать наи-
знанку, я почувствовал себя страшно боль-
ным, как будто мне приходит конец, и так это-
го испугался, что на следующий день в Ман-
хэттене ринулся к терапевту; тот назначил
мне целый ряд диагностических процедур.
Три недели я проходил высокотехнологич-
ное и весьма дорогостоящее обследование,
по окончании которого доктор объявил мне,
что я в полном порядке. В обычном состоя-
нии меня бы это удовлетворило и даже воо-
душевило, и на сей раз я действительно был
счастлив — день или два, до тех пор пока мое
душевное состояние снова не начало ежед-
невно и ритмично рушиться: опять появи-
лись тревога, беспокойство, неопределен-
ный страх.

К тому времени я уже вернулся в свой дом
в Коннектикуте. На дворе стоял октябрь, и
одной из незабываемых особенностей этого
этапа стало то, что мой собственный загород-
ный дом, мое излюбленное пристанище на
протяжении тридцати лет, в ту пору, когда
мое душевное состояние планомерно клони-
лось к упадку, стал казаться мне зловещим, и

угрозу, исходящую от него, можно было буквально потрогать руками. Тающий вечерний свет — сродни тому самому знаменитому «косому лучу света» Эмили Дикинсон, который у нее говорит о смерти, о ледяном угасании жизни, — полностью утратил свое прежнее осеннее очарование, заманивая меня в область удушливого сумрака. Я спрашивал себя, как это милое место, которое когда-то наполняли собой (снова процитирую ее) «Девушки и юнцы», их «смех — и блеск дарований — и вздохи, локонов венцы», может выглядеть столь ощутимо враждебным и зловещим. Фактически я не был один: Роуз постоянно находилась рядом и с неослабевающим терпением выслушивала мои жалобы, — но я испытывал огромное и болезненное чувство одиночества. Я уже не мог сосредоточиться в те дневные часы, которые прежде на протяжении долгих лет отводились под работу, и само литературное творчество давалось мне все труднее и труднее, отнимало все больше сил, процесс замедлялся, пока наконец не прекратился.

Еще были ужасные, скачкообразные приступы беспокойства. Однажды ясным днем я гулял с собакой в лесу и услышал над огненными кронами деревьев клич стаи канадских гусей; прежде это зрелище и этот звук обрадовали бы меня, но теперь при виде пролетающих птиц я замер, скованный ужасом, и стоял там потерянный, беспомощный, испыты-

вая лихорадочный озноб и впервые осознав, что происходящее со мной не просто муки воздержания от алкоголя, а серьезная болезнь, существование которой мне в конце концов пришлось признать. Возвращаясь домой, я никак не мог выкинуть из головы строчку из стихотворения Бодлера, явившуюся из далекого прошлого: она уже неделю блуждала где-то на окраинах моего сознания: «Я ощутил ветер из-под крыла безумия».

Наша, пожалуй, вполне понятная потребность сгладить острые грани доставшихся нам в наследство бед привела к тому, что мы убрали из своего лексикона такие суровые слова, как «сумасшедший дом», «приют умалишенных», «умопомрачение», «меланхолия», «луна-тик», «безумие». Но никаких сомнений не должно быть в том, что депрессия в ее крайней форме — это именно безумие. Оно является результатом аномального биохимического процесса. С большой степенью достоверности было установлено (не так давно, и многие психиатры очень долго отказывались с этим соглашаться), что такого рода безумие вызывается химическим сбоем в нейромедиаторах мозга, вероятно, возникающим как следствие стресса, который по неизвестным причинам вызывает нехватку веществ норэпинефрина и серотонина и повышенную секрецию гормона кортизола. Происходит перестройка тканей мозга, наводнение их одной жидкостью и лишение другой, и несудивительно, что разум

начинает ощущать давление и расстройство, а замутненная мысль при этом регистрирует сбой в переживающем подобное потрясение органе. Иногда, хотя и не часто, такой омраченный разум начинает строить агрессивные замыслы в отношении других. Но обычно у людей, страдающих от депрессии, разум обращен вовнутрь и они представляют опасность лишь для себя самих. Безумие депрессии по большому счету — это противоположность агрессии. Это действительно буря, но буря мрака и тоски. Вскоре проявляется медлительность реакции, сродни параличу, снижение душевной энергии, вплоть до ее иссякания. Наконец начинает страдать и тело, человек чувствует себя опустошенным, словно из него высосали все соки.

В ту осень, по мере того как недуг постепенно овладевал моим организмом, мне начинало казаться, что мой разум как один из устаревших телефонных узлов в маленьких городках, которые постепенно затапливает половодье: рабочие соединения одно за другим уходят под воду, в результате чего некоторые физические функции тела и почти все функции инстинкта и интеллекта медленно отключаются.

Существует известный список этих функций и форм их отказа. У меня все отключилось в соответствии с планом, во многом следуя схеме развития депрессии. Особенно хорошо я помню прискорбный момент, когда у

меня почти пропал голос. Он претерпел странную трансформацию, временами становясь очень слабым, сильным, отрывистым, — позже один мой друг заметил, что это был голос девяностолетнего старика. Либи́до тоже дезертировало досрочно, как в большинстве случаев болезни, так как в состоянии осады оно является для тела избыточной потребностью. Многие люди полностью теряют аппетит; мой оставался относительно нормальным, но я обратил внимание, что ем лишь по необходимости: еда, как и все остальное, попадающее в сферу чувств, казалась в высшей степени безвкусной. Самым удручающим из всех органических нарушений было расстройство сна наряду с полным отсутствием сновидений.

Утомление в сочетании с бессонницей — редкостная пытка. Теми двумя-тремя часами сна, которые мне удавалось урвать за ночь, я всегда был обязан хальциону — этот момент заслуживает отдельного упоминания. Многие эксперты в области психофармакологии с некоторых пор предупреждают, что препараты из группы бензодиазепинов, к которым относится хальцион (а также валиум и ативан), могут способствовать развитию депрессивного настроения или возникновению депрессии более сильной степени. Более чем за два года до обострения моей болезни, один доктор неосторожно прописал мне ативан в качестве снотворного средства, легкомыс-

ленно сообщив, что я могу принимать его столь же безбоязненно, как аспирин. В «Настольном справочнике терапевта» — фармакологической библии — сказано, что лекарство, которое я употреблял, следует принимать в другой дозировке (второе меньшей, чем было мне предписано), что его не рекомендуется применять более месяца и что людям моего возраста следует применять его с особенной осторожностью. В то время, о котором я рассказываю, я уже не принимал ативан, зато пристрастился к хальциону и потреблял его в больших дозах. Разумно предположить, что это стало одним из факторов случившегося со мной несчастья. И пусть это послужит предостережением другим.

Как бы там ни было, те несколько часов сна, что мне удавалось получить, обычно завершались к трем или четырем часам утра я открывал глаза и лежал, устремив взгляд в разверстую темноту, поражаясь и мучась вследствие опустошительного процесса в моем мозгу и дожидаясь рассвета, — с его наступлением мне, как правило, доставалось немного беспокойной дремы без сновидений. Я абсолютно уверен в том, что именно во время этих бессонных бдений, похожих на транс, ко мне явилось понимание — жуткое, шокирующее откровение, словно я вдруг постиг некую с давних пор скрытую от людей метафизическую правду — что это мое состояние будет стоять мне жизни, если так продолжится дальше. Кажется, это случилось непосредственно перед поездкой в

Париж. Как я уже сказал, к тому времени образ смерти уже ежедневно присутствовал в моем мировосприятии подобно дуновению холодного ветра. Я точно не знал, как именно умру, и по-прежнему изо всех сил гнал мысль о самоубийстве. Но ясно было, что возможность совершить его не за горами и вскоре мне придется столкнуться с ней лицом к лицу.

Я постепенно стал открывать для себя, что загадочным образом и вопреки привычному ходу событий серая изморось ужаса, вызываемого депрессией, понемногу переходит в физическую боль. Но это была не боль, ощущаемая сразу и непосредственно, как при переломе конечности. Может, точнее будет сказать, что отчаяние, в силу некой злой шутки, которую сыграла над больным мозгом душа, начало походило на адское ощущение, испытываемое человеком, запертым в комнате, где царит нестерпимый жар. И так как даже легкий ветерок не остужает эту жаровню, а выхода из этого гнетущего заточения не существует, совершенно естественно, что жертва начинает беспрестанно думать о помиловании.

5

Один из самых запоминающихся моментов в «Госпоже Бовари» — это когда героиня ищет помощи у сельского священника. Обуреваемая чувством вины, обезумевшая от горя, в

состоянии глубокой депрессии нарушающая супружескую верность Эмма — на пути к ожидающему ее в конце самоубийству — неуклюже пытается прибегнуть к помощи аббата, чтобы тот показал ей выход из ее беды. Но священник, простодушный и не отличающийся большим умом, только и может, что теревить свою грязную рясу, рассеянно кричать на своих служек и говорить евангельские банальности. Эмма продолжает тихо сходиться с ума, не находя утешения ни у Бога, ни у людей.

Общаясь с психиатром — буду называть его доктор Голд, — к которому я начал ходить сразу же по возвращении из Парижа, когда мое отчаяние начало день ото дня сгущаться, я отчасти ощущал то же самое, что Эмма Бовари. Никогда прежде я не попадал на прием к такого рода врачам, и теперь чувствовал себя неловко, поэтому занял своего рода оборонительную позицию; моя боль стала очень интенсивной, и я сильно сомневался в том, что беседа с другим смертным, пусть даже профессионалом, экспертом в области душевных расстройств, может облегчить мои страдания. Мадам Бовари отправилась к священнику, пребывая в таких же сомнениях и нерешительности. Однако наше общество так устроено, что именно к доктору Голду или кому-то вроде него мы вынуждены обращаться, когда переживаем кризис, и это даже не такая уж плохая идея, поскольку доктор Голд учился в

Йеле, имеет высокую квалификацию и по крайней мере способен стать той точкой, на которой больной может попытаться сосредоточить свои угасающие силы, подарить пациенту утешение, а то и вовсе надежду, и на протяжении пятидесяти минут выслушивать его излияния, повествование о случившемся несчастье, тем самым весьма облегчая жизнь жене страдальца. И все же ни в коей мере не оспаривая эффективность психотерапии для легкой формы болезни, на этапе начальных проявлений — или даже по прошествии серьезного приступа — ее польза на той запущенной стадии, какую переживал я, фактически сводилась к нулю. Когда я ходил на сеансы к доктору Голду, у меня была более конкретная цель — получить от него медикаментозную помощь, — хотя, увы, и это тоже оказалось химерой для такого запущенного случая, как у меня.

Он спросил меня, испытываю ли я тягу к самоубийству, и я неохотно ответил: «Да». Я не стал вдаваться в детали — поскольку не видел в том необходимости — и не рассказал ему, что в действительности многие места и предметы в своем доме я начал воспринимать как потенциальные средства самоуничтожения: балки на чердаке (а также пара кленов за окном) предоставляли мне возможность повеситься, в гараже я мог отравиться угарным газом, в ванне — вскрыть вены. Кухонные ножи имели для меня лишь одно-единствен-

ное назначение. Смерть от сердечного приступа выглядела особенно заманчивой перспективой, поскольку освободила бы меня от ответственности и необходимости самому предпринимать какие-то действия, а еще я размышлял над возможностью нарочно заболеть воспалением легких, совершив долгую прогулку по лесу под дождем в одной рубашке. Как вариант рассматривал я и мнимый несчастный случай на манер Рэндалла Джаррела: выскочить перед грузовиком на проходящем поблизости шоссе. Может показаться, что все эти мысли — смертельно зловещие (натужный каламбур), но именно так я в ту пору и думал. Несомненно, особенное отторжение они вызовут у здоровых американцев, с их идеей самосовершенствования. И все же в действительности подобного рода жуткие фантазии, от которых у здоровых людей мурашки бегут по коже, для больных депрессией в запущенной тяжелой форме столь же отрадны, как похотливые грезы для человека с сильно развитой сексуальностью. Мы с доктором Голдом встречались два раза в неделю, но я мало что мог рассказать ему — разве что тщетно пытался описать свои страдания.

Он тоже не мог сказать мне что-либо ценное. Свои банальности, не евангельские, но столь же недейственные, он черпал прямо со страниц «Руководства по диагностике и статистике психических расстройств» Американской психиатрической ассоциации (боль-

шую часть которого, как упоминал прежде, я уже раньше читал), и в качестве лекарства предложил мне антидепрессант под названием «людиомил». Этот препарат сделал меня раздражительным, мучительно гиперактивным, а когда через десять дней мы увеличили дозу, он как-то ночью на несколько часов заблокировал мой мочевой пузырь. Когда я сообщил доктору Голду об этой проблеме, он сказал, что должно пройти еще десять дней, прежде чем лекарство приведет в порядок мой организм, после чего он выпишет мне новое средство. Десять дней для человека, растянутого на пыточном станке, — все равно что десять веков; при этом в расчет не принимается тот факт, что при назначении нового препарата должно пройти несколько недель, прежде чем он окажет свое действие, причем эффективность его в любом случае отнюдь не гарантирована.

В связи с этим встает вопрос о медикаментозном лечении как таковом. Нужно отдать должное психиатрии за поиски способов лечить депрессию фармакологически. Применение лития для стабилизации состояния больного при маниакальной депрессии — огромное достижение медицины; это же средство эффективно используется для профилактики многих разновидностей униполярной депрессии. Нет никаких сомнений в том, что в определенных случаях и некоторых хронических формах болезни (при так на-

зываемых эндогенных депрессиях) действие медицинских препаратов трудно переоценить — часто они радикальным образом меняют течение серьезного расстройства. Однако по причинам, до сих пор неясным мне, ни лекарства, ни психотерапия не смогли остановить моего погружения в пучину. Если верить утверждениям многих авторитетных в этой области людей — включая заверения ряда терапевтов, которых я лично знал и уважал, — вследствие опасного развития моей болезни я попал в число того меньшинства пациентов, у которых это расстройство невозможно контролировать. Как бы там ни было, я не хотел бы, чтобы создалось впечатление, будто я отрицаю благотворный эффект такого лечения, который в последнее время испытали на себе большинство жертв депрессии. Особенно на ранних стадиях болезнь успешно отступает перед такими методами, как когнитивная терапия — сама по себе или в сочетании с лекарственными препаратами, — и иными постоянно совершенствующимися психотерапевтическими тактиками. В конце концов большинство пациентов вовсе не нуждаются в госпитализации и не совершают самоубийства или его попыток. Но до того дня, когда изобретут быстроедействующее средство, в эффективность лекарственных методов лечения тяжелых форм депрессии можно верить лишь условно. Неспособность соответствующих лекарств да-

вать быстрый и ощутимый эффект — этим недостатком сейчас обладают все препараты — отчасти сродни неспособности почти всех известных лекарств сдерживать серьезные бактериальные инфекции в эпоху, предшествующую применению с данной целью антибиотиков. И опасность тоже сопоставима.

Так что в продолжении визитов к доктору Голду я видел мало толку. В ходе наших встреч мы продолжали обмениваться банальностями, причем свои я теперь излагал ему сбивчиво, поскольку моя речь, вслед за походкой, замедлилась — продолжая еле волочить ноги, теперь я еле ворочал языком, — и, уверен, это общение в равной мере утомляло нас обоих.

Несмотря на отсутствие надежных методов лечения, психиатрия, на уровне анализа и философии, во многом помогла понять происхождение депрессии. Разумеется, нам еще многое предстоит узнать в этой области (а многое, несомненно, по-прежнему будет оставаться тайной ввиду непонятной природы болезни и постоянного взаимодействия факторов), однако один психологический момент был установлен совершенно точно — это идея утраты. Впоследствии я постепенно приду к убеждению, что трагическая утрата в детстве, вероятно, стала источником моего собственного расстройства, а пока что, анализируя свое постепенно ухудшающееся состояние, я со всех сторон видел утраты. Утрата самоуважения является хорошо известным

симптомом, и моя самооценка действительно свелась почти к нулю вкупе с уверенностью в себе. Подобное ощущение быстро перерождается в зависимость, а потом перерастает в детский страх. Человек боится все потерять — всех близких и дорогих людей. Возникает острый страх быть покинутым. Когда я оставался один дома, даже на короткое время, у меня начиналась сильнейшая паника и смятение.

Самым странным и повергающим в смятение образом, который моя память сохранила с того времени, был следующий: мне четыре с половиной года, я иду по рынку вслед за своей многострадальной женой; я не мог допустить, чтоб она хоть на мгновение оказалась вне моего поля зрения — терпеливая душа, ставшая мне няней, мамочкой, утешителем, священником и, что важнее всего, доверенным лицом, наперсницей-советницей, превратившаяся в незыблемый центр моего существования, чья мудрость намного превосходила компетентность доктора Голда. Рискну высказать предположение, что многих катастрофических последствий депрессии можно было бы избежать, если бы жертвы получали такую поддержку, как та, что я получал от нее. Между тем мои утраты увеличивались и распространялись. Не приходится сомневаться в том, что по мере приближения к предпоследней фазе депрессии — она непосредственно предшествует тому этапу, на ко-

тором больной предпринимает попытки самоубийства, уже не довольствуясь одними только размышлениями о нем, — острое чувство утраты сопряжено с осознанием того, что жизнь ускользает со все возрастающей скоростью. Человек испытывает сильнейшую привязанностью к предметам. Нелепые мелочи — очки, носовой платок, кое-какие письменные принадлежности — стали для меня объектами маниакальной одержимости. Любое их кратковременное перемещение вызывало в моей душе безумный переполох, поскольку каждая из вещей являлась осязательным напоминанием о мире, которому вскоре суждено было померкнуть.

Шел ноябрь — блеклый, сырой, стылый. Как-то раз в воскресенье ко мне явился фотограф с помощниками, чтобы сделать мой снимок для очень известного журнала. Я мало что помню из той фотосессии — разве что первые хлопья снега за окном. Мне казалось, что я, по настоянию фотографа, часто улыбался. Через пару дней редактор журнала позвонил моей жене и предложил провести еще одну фотосессию. На вопрос о причине он ответил, что на всех фотографиях у меня слишком тревожное выражение лица».

Я уже достиг той фазы болезни, когда всякое чувство надежды пропадает без следа, а заодно — и мысли о будущем; мой мозг, сделавшийся невольником разбушевавшихся гормонов, превратился из органа мышления

в устройство, минуту за минутой регистрирующее собственные страдания. Теперь и по утрам мне становилось все хуже и хуже — я бродил туда-сюда, словно в летаргии, после искусственно вызванного сна, но день, начиная с трех часов, по-прежнему являлся самым кошмарным временем суток: я чувствовал, как ужас, подобно ядовитой полосе тумана, заволакивает мой разум, принуждая меня лечь в постель. Там я оставался на протяжении шести часов, в оцепенении, буквально парализованный, уставившись в потолок и дожидаясь наступления вечера, когда мои муки таинственным образом ослабевали — достаточно, чтобы я мог заставить себя проглотить немного еды и попытаться еще на пару часов заснуть. Почему меня не поместили в больницу?

6

Я много лет вел блокнот — не совсем дневник, поскольку записи там делались не постоянно и бессистемно (я бы не хотел, чтобы его содержание попало на глаза — и посторонним). Я хорошенько прятал его в своем доме. Там нет ничего шокирующего — никаких откровений сексуального характера, ничего ругательного, никаких саморазоблачений, которые объясняли бы мое столь страстное желание скрыть дневник. Тем не менее я намеревался использовать этот маленький

томик строго в профессиональных целях, а после уничтожить — прежде чем наступит тот дальний день, когда призрак лечебницы замаячит у меня на горизонте. По мере того как болезнь прогрессировала, я почему-то пришел к убеждению, что если я соберусь избавиться от блокнота, то этот момент непременно совпадет с решением наложить на себя руки. И однажды вечером в начале декабря этот момент настал.

Днем меня возили на прием к доктору Голду (сам я уже не мог водить машину), и тот сообщил, что намерен прописать мне антидепрессант нардил — еще одно лекарство, выгодно отличающееся от прежних двух тем, что не вызывает задержку мочеиспускания. Однако он обладал двумя недостатками. Существовала вероятность, что нардил не подействует раньше чем через месяц-полтора — я едва поверил своим ушам, — а еще мне предстояло следовать определенной диете, по счастью, весьма эпикурейской (никакой колбасы, никакого сыра, никакого фуа-гра), чтобы избежать конфликта между двумя несовместимыми ферментами — подобный конфликт мог привести к удару. Кроме того доктор Голд с каменным выражением лица сообщил, что в оптимальной дозировке лекарство может в качестве побочного эффекта приводить к импотенции. До этого момента, хотя у меня и были некоторые трудности в общении с ним, я не думал, что он совсем уж лишен проница-

тельности, но теперь у меня появились в этом большие сомнения. Я поставил себя на место доктора Голда и попытался понять, серьезно ли он думает, что такой полуинвалид, как я, из которого ушли все жизненные соки, с опустошенной душой, еле ковыляющий, со старческими хрипами в голосе, каждое утро просыпаясь после вызванного хальционом сна, жаждет предаться плотским утехам.

Я испытал такое безрадостное чувство от общения с ним в тот день, что домой вернулся в особенно скверном настроении и стал готовиться к вечеру. Мы ждали к обеду гостей — они никогда меня не пугали и не воодушевляли, что само по себе (то есть мое вялое безразличие) раскрывает один удивительный аспект депрессии как патологии. Речь идет не о так называемом болевом пороге, но о параллельном явлении, то есть о предполагаемой неспособности души впитывать боль, длительность которой превышает обозримые границы времени. Когда человек испытывает боль, есть такой момент, когда уверенность в скором облегчении позволяет терпеть сверх меры. Мы учимся сосуществовать с болью, чья интенсивность изменяется — на протяжении дня или более длительных периодов времени, — и в большинстве случаев она милостиво нас отпускает. Наши механизмы приспособления с детства учили нас, чувствуя серьезное недомогание физического характера, подстраиваться под требования боли: прини-

мать ее — мужественно либо хныкая и жалуясь, в зависимости от того, насколько мы стоики, но в любом случае ее принимать. За исключением хронической боли, вызываемой неизлечимым недугом, всегда в каком-либо виде существует облегчение; мы ждем с нетерпением этого момента, и не важно, наступает ли он во время сна, благодаря тайленолу, самовнушению, перемене положения или (чаще всего), благодаря способности тела к самоисцелению. И тогда мы воспринимаем этот отдых, это освобождение как заслуженную награду за то, что мы так хорошо держались и так мужественно переносили страдания, что оказались такими неунывающими борцами за жизнь.

Во время депрессии отсутствует эта вера в избавление, в предстоящее восстановление здоровья. Боль не утихает, а сознание того, что лекарства не будет — ни через день, ни через час, ни через месяц, ни через минуту, — делает положение больного невыносимым. Если и наступает некоторое облегчение, то человек понимает, что оно лишь временно, а за ним снова последует боль. Безднадежность в большей степени, чем боль, разрушает душу. Так что ежедневное принятие решений не сопряжено с переходом от одной удручающей ситуации к другой, менее удручающей, или от неудобства к относительному удобству, или от скуки к активным действиям: это движение от боли к боли. Человек даже на короткое

время не покидает свое ложе с гвоздями, он прикован к нему, куда бы ни пошел. В результате складывается жуткая ситуация — прибегая к реалиям военной жизни, я назвал бы это положением ходячего раненого. Ведь при любой серьезной болезни пациент, испытывающий подобные страдания, находился бы в постели: возможно, под действием успокоительных, подключенный к трубочкам и проводам системы жизнеобеспечения, — но во всяком случае, он лежал бы неподвижно, в изолированном помещении. Освобождение его от труда считалось бы необходимым, само собой разумеющимся и заслуженным. Однако у того, кто страдает от депрессии, такой возможности нет, а потому он, подобно ходячему больному в войну, оказывается в нестерпимых социальных и семейных обстоятельствах. Несмотря на тревогу, поглощающую его мозг, он вынужден стараться выглядеть так, как принято в обществе, в обычной обстановке. Ему приходится поддерживать разговор, отвечать на вопросы, в подходящий момент кивать, хмуриться и, да поможет ему Бог, даже улыбаться. Но ведь для него выдавить несколько слов уже жестокое испытание.

К примеру в тот декабрьский вечер я мог остаться в постели на протяжении самых худших моих часов или согласиться участвовать в обеде, который моя жена устроила внизу. Но само это решение было формальностью. Оба варианта являлись для меня пыткой в одина-

ковой степени, и я выбрал обед не потому, что он чем-то привлекал меня, а из безразличия: я знал, что в любом случае меня ждет один и тот же кошмар, ужас и мрак. За обедом я почти не мог говорить, но четверо гостей — близкие друзья — знали о моем состоянии и учтиво делали вид, что не обращают внимания на мою невольную немоту. Потом, после обеда, сидя в гостиной, я испытал странное душевное содрогание, которое могу описать лишь как отчаяние, превосходящее границы всякого отчаяния. Оно пришло из ночного холода; я не подозревал, что такая тревога возможна.

Мои друзья тихонько беседовали у камина, а я, извинившись, отправился наверх и достал свой блокнот из тайника. После чего проследовал на кухню и, ощущая лучезарную ясность сознания — сродни той, что испытывает человек, занятый исполнением торжественного ритуала, — достал все необходимое для избавления от блокнота, отмечая про себя все названия торговых марок этих широко разрекламированных товаров: я открыл новый рулон бумажных полотенец «Вива», завернул в него блокнот, взял клейкую ленту марки «Скотч», запаковал сверток, поместил его в пустую коробку из-под отрубевых хлопьев с изюмом «Пост» и, наконец, отправил в мусорный бак, который должны были вытряхнуть наутро. Огонь истребил бы его быстрее, но среди мусора уничтожилась его сущ-

ность и смысл, что отвечало неумной тяге к самоуничтожению, присущей человеку в состоянии меланхолии. Я чувствовал, как мое сердце бешено бьется, словно у того, кто стоит перед расстрельной командой, и знал, что принял необратимое решение.

Многие люди, испытывавшие состояние глубокой депрессии, заметили один странный феномен: рядом с ними всегда присутствовало как будто некое второе «я» — бестелесный наблюдатель, который, будучи свободным от безумия, обуревающего его двойника, способен с бесстрастным любопытством наблюдать, как его товарищ сражается с надвигающейся катастрофой или же решает смириться с нею. Во всем этом есть некая театральность, и на протяжении следующей недели, всерьез продолжая готовиться к смерти, я не мог отделаться от ощущения, что происходит мелодрама, в которой я, будущая жертва самоубийцы, являюсь одновременно единственным актером и одиноким зрителем в зале. Я еще не выбрал, каким образом уйду из этого мира, но знал, что скоро совершу этот шаг, неизбежный, как наступление ночи.

Я со смесью ужаса и восхищения наблюдал сам за собой, когда начал совершать необходимые приготовления: съездил в соседний город к юристу, чтобы переписать завещание, и пару раз потратил днем по несколько часов на сочинение послания потомкам. Выяснилось, что составление предсмертной

записки (я был одержим настойчивой потребностью сочинить ее) — самая тяжелая писательская задача, с какой я когда-либо сталкивался. Слишком многих нужно было упомянуть, поблагодарить, напоследок одарить добрыми словами. В конце концов я не смог вынести ее глубокой траурной торжественности; было что-то комичное и оскорбительное в напыщенной фразе: «Вот уже давно я испытываю во время работы нарастающий психоз, несомненно, являющийся отражением психологического напряжения, свойственного моей жизни» (это одна из нескольких строк, которые я помню дословно), а также нечто унижительное в попытке составить завещание: я силился привнести в него хоть немного достоинства и красноречия, а в результате все свелось к бессильному заиканию, нелепым оправданиям и попыткам объяснить свое поведение. Мне следовало взять за образец пронзительное изречение итальянского писателя Чезаре Павезе, перед самоубийством сказавшего просто: «Больше никаких слов. Только действие. Я больше никогда ничего не напишу».

Но даже несколько слов казались мне слишком растянутым текстом, и я разорвал в клочки плоды всех своих усилий, решив уйти молча. И вот как-то раз, в одну особенно холодную ночь, я понял, что, вероятно, не переживу следующий день, — я сидел в гостиной, закутавшись от стужи: что-то случилось с камином. Моя жена уже

ушла спать, а я заставлял себя смотреть запись фильма, в котором в небольшой роли была занята актриса, игравшая когда-то в моей пьесе. В какой-то момент по сюжету, действие которого разворачивалось в конце девятнадцатого века в Бостоне, герои шли по вестибюлю консерватории, а музыканты, невидимые для зрителя, исполняли пассаж из «Рапсодии для альты» Брамса, и солирующее контральто парило под сводами здания.

Этот звук — хотя я месяцами оставался абсолютно невосприимчив к музыке, как и любому другому удовольствию, — пронзил мое сердце словно кинжал, и, подхваченный стремительной волной воспоминаний, я подумал обо всех радостях, свидетелем которым стал этот дом: о детях, носившихся по его комнатам, о праздниках, о любви и о работе, о честно заслуженном сне, о голосах, о веселой суматохе, о вечной стае кошек, собак и птиц, и вспомнились мне: «Смех — и блеск дарований — и вздохи, локонов венцы». И тут я понял, что никогда не найду в себе силы оскорбить эти воспоминания исполнением того, что так тщательно обдумал и спланировал, а кроме того, нанести такой удар тем, с кем эти воспоминания связаны. Еще столь же ясно я осознал, что не должен совершать подобного надругательства над самим собой. Я собрал воедино слабые проблески остатков душевного здоровья и постиг ужасающие размеры смертельной беды, в которой находился. Тог-

да я разбудил жену, и вскоре в доме уже вовсю работали телефоны. На следующий день меня положили в больницу.

7

Заниматься госпитализацией мы пригласили доктора Голда, поскольку он являлся моим лечащим врачом. Забавно, что он пару раз во время сеансов (после того как я нерешительно повел речь о возможности отправиться в стационар) говорил, что я должен всеми силами избежать больницы, чтобы не подвергать себя позору. Этот подход тогда казался мне, и сейчас продолжает казаться, в корне ошибочным; я думал, что психиатрия уже преодолела тот момент, когда все, что связано с душевными болезнями, считалось позорным, включая госпитализацию. Больница, конечно, не слишком привлекательное место, но это прибежище, куда пациенты могут обратиться в том случае, когда лекарства не действуют, как это случилось со мной, и где можно в другой обстановке продолжить терапию, что начинается в кабинетах таких врачей, как доктор Голд.

Возможно, другой доктор тоже стал бы отговаривать меня от госпитализации. Многие психиатры вообще не способны понять природу той тревоги, что испытывают их пациенты и продолжают упрямо настаивать на

приеме лекарств, веря в то, что в конце концов таблетки подействуют, организм пациента отреагирует на них и мрачной больничной среды удастся избежать. Доктор Голд принадлежал, как видно, к их числу, но в моем случае это был неправильный подход; убежден, мне нужно было лечь в больницу несколькими неделями ранее. Ведь на самом деле спасла меня именно лечебница. Как ни парадоксально это звучит, но именно в этом суровом месте с запертыми дверями и решетками на окнах, с пустынными зелеными коридорами и машинами «скорой помощи», денно и нощно завывающими десятую этажами ниже, я обрел отдохновение, спасение от бури, бушевавшей в моем мозгу, найти которое был неспособен в своем тихом загородном доме.

Отчасти это результат изоляции, чувства надежности, перемещения в мир, где пасаущая потребность взять в руки нож и вонзить его в грудь отступает перед истиной, доступной даже затуманенному мозгу больного депрессией: что нож, при помощи которого он пытается разрезать ужасный швейцарский стейк, изготовлен из мягкого пластика. А еще больница повергает человека в мягкий и странно благотворный шок внезапной стабилизации, сопряженный с переходом от домашней, слишком знакомой обстановки, где все было тревога и смятение, в благодатное заключение с его порядком, где единственная

обязанность пациента — поправиться. Для меня истинными целителями стали заключение и время.

8

Больница была промежуточной станцией, чистилищем. Когда я попал в это место, моя депрессия казалась такой глубокой, что, по мнению части персонала, я являлся кандидатом на ЭКТ, электроконвульсивную терапию, более известную как электрошок. Это лечение во многих случаях дает эффект: метод претерпел усовершенствование и вновь в значительной мере вернулся во врачебную практику, избавившись в целом от дурной славы, которую заслужил в Средние века, — но это поистине ужасная процедура, и ее стараются избежать. Я избежал ее, поскольку начал поправляться — медленно, но верно. Меня изумило, что мысли о самоубийстве исчезли всего через несколько дней после того, как я поступил в лечебницу, и это тоже свидетельство того умиротворяющего эффекта, какой может создать больница, ведь ее непосредственный смысл в том, чтоб быть святилищем, где разум вновь обретает покой.

Однако надо напоследок добавить еще несколько слов предостережения по поводу хальциона. Я убежден, что этот транкви-

лизатор может подтолкнуть человека к самоубийству. Фактическим тому доказательством является беседа с психиатром заведения, случившаяся всего через несколько часов после того, как я там оказался. Когда он спросил меня, что я принимал в качестве снотворного, и о дозировке, я ответил: «Семьдесят пять миллиграммов хальциона»; при этих словах его лицо помрачнело, и он категорически заявил, что это в три раза больше нормы, а еще такое количество особенно противопоказано людям моего возраста. Меня тут же перевели на далман, еще одно родственное снотворное более длительного действия; оно усыпляло меня, по крайней мере столь же эффективно, как хальцион, но важнее другое: вскоре я заметил, что мои суицидальные намерения сначала ослабели, а затем и вовсе исчезли.

В последнее время появилось много подтверждений тому факту, что хальцион (его химическое название — триазолам) является причинным фактором в возникновении одержимости самоубийством и других умственных расстройств у склонных к ним людей, ввиду чего был категорически запрещен в Нидерландах, а у нас следует по крайней мере тщательно наблюдать за принимающими его пациентами. Я не помню, чтобы доктор Голд хоть раз усомнился в целесообразности той чрезмерной дозы, которую он мне назначил; вероятно, он просто не читал про-

тивопоказаний, заявленных в «Настольном справочнике терапевта». В сущности, причиной передозировки стала моя собственная беспечность, и я склонен считать, что виной тому слепая уверенность, которую несколькими годами ранее я стал питать по милости беспечного доктора, выписавшего мне ативан и сообщившего, что я могу безбоязненно принимать столько таблеток, сколько захочу. Мурашки бегут по коже, когда думаешь о том, какой вред столь неразборчивое отношение к этому потенциально опасному транквилизатору, вероятно, наносит множеству пациентов по всему миру. Разумеется, в моем случае хальцион был не единственным злодеем, ибо меня и так несло в пропасть, однако я уверен, что без него я, по-видимому, не рухнул бы так глубоко.

Я находился в больнице почти семь недель. Наверно, не у каждого организм отреагировал бы так, как у меня; следует постоянно иметь в виду, что депрессия существует в таком количестве вариантов и имеет столько всяких тонких нюансов — коротко говоря, слишком много зависит от совокупности причинных факторов и реакций организма каждого конкретного человека, — что лечение, ставшее панацеей для одного, может оказаться ловушкой для другого. И, разумеется, нужно пересмотреть отношения к больницам (разумеется, я говорю о хороших, и их множество) и перестать ассоциировать их с уг-

розой. Конечно, больница — не самое радостное место; та, в которую поместили меня (а мне повезло попасть в одну из самых лучших лечебниц в стране), обладала всеми положенными устрашающими атрибутами. Если добавить к этому, что на одном и том же этаже, как в моем случае, собраны четырнадцать или пятнадцать мужчин и женщин средних лет, находящихся во власти меланхолии с суицидальным уклоном, то можно представить, что за невеселая обстановка там царила. Не улучшали моего положения невкусная еда и возможность время от времени заглядывать во внешний мир: «Династия», «Тихая пристань» и вечерние новости на Си-би-эс, ежевечерне сменявшие друг друга в комнате отдыха с голыми стенами, иногда по крайней мере давали понять, что место, ставшее мне приютом, — более симпатичный дурдом, чем тот, который я покинул. В больнице депрессия нехотя оказала мне, пожалуй, единственную свою услугу: окончательно капитулировала. Даже те, для кого любая терапия является лишь бесполезным испытанием, могут получать отраду от ожидания того момента, когда буря наконец пройдет. Если они выживают в самой буре, мощь ее почти всегда со временем ослабевает, а после окончательно сходит на нет. Таинственным образом возникнув, болезнь развивается по своему сценарию, таинственным образом исчезает, и человек обретает мир.

По мере того как мне становилось лучше, я находил развлечение в больничной рутине с ее собственной внутрибольничной комедией положений. Говорят, групповая терапия дает определенный эффект; я ни в коем случае не хочу умалять значение какого бы то ни было метода, оказавшегося для кого-то результативным, — но мне групповая терапия ничем не помогла, разве что разозлила — возможно потому, что меня курировал до отвращения самодовольный и чопорный молодой психиатр с темной клиновидной бородкой (*der junge Freud?**), который, пытаясь вытащить из нас на поверхность то, что стало семенами нашей беды, чередовал снисходительность с запугиванием, и в конце концов довел двух пациенток, таких жалких в своих кимоно и бигудях, до слез — уверен, он остался доволен. (Остальные психиатры, я считаю, проявляли выдающийся такт и сострадательность.) В больницах время тянется медленно, и лучшее, что я могу сказать о сеансах групповой терапии, — это то, что они помогали мне скоротать несколько часов.

Примерно такое же мнение можно выразить и по поводу художественной терапии: это организованная форма инфантилизма. Занятия в нашей группе вела сумасбродная молодая женщина с застывшей, не покидавшей ее лица улыбкой, которую, видимо, хорошо вымуштровали в школе, где преподает-

* Фрейд в юности? (нем.)

ся курс по художественному развитию для душевнобольных; даже учитель отстающих детей раннего возраста не смог бы без специальной инструкции выдавить из себя такое качественное хихикание и сюсюкание. Она разворачивала перед нами рулоны скользких обоев, просила взять цветные карандаши и нарисовать что-либо на выбранные нами темы, — например: «Мой дом». Ощущая ярость и унижение, я подчинился и нарисовал квадрат с дверью, четыремя скособоченными окнами и трубой на крыше, из которой выходила причудливая завитушка дыма. Она осыпала меня похвалами; шли недели, мое состояние улучшалось, а вместе с ними возвращалось и мое чувство юмора. Я стал охотно баловаться с цветным пластилином, сначала вылепив из него жутковатый зеленый череп с торчащими зубами, который наша учительница провозгласила отличным выражением моей депрессии. Потом, через промежуточные стадии выздоровления, я дошел до розовой ангельской головки с учтивой улыбкой. Поскольку сие творение совпало по времени с наступлением облегчения в болезни, оно искренне обрадовало преподавательницу (я невольно проникся к ней добрыми чувствами), ибо, как она сказала, оно символизирует мое выздоровление, а потому является еще одним примером того, как художественная терапия побеждает недуг.

На дворе стояло начало февраля, и я, хоть и был еще слаб, знал, что уже вынырнул к свету. Теперь я чувствовал себя не пустой оболочкой, а полноценным телом, в котором снова переливались чудесные жизненные соки. Впервые за много месяцев я видел сон, смутный, но памятный мне до сих пор: там где-то была флейта, и дикий гусь, и танцующая девушка.

9

Общеизвестно, что подавляющее большинство людей, страдавших от депрессии, даже в тяжелой форме, справляются с ней и продолжают жить по меньшей мере столь же счастливо, сколь их собратья, не переносившие этой болезни. Не считая кое-каких ужасных воспоминаний, острая депрессия почти не оставляет незаживающих ран. Есть своего рода сизифова мука в том, что в действительности значительное число — около половины — тех, кто испытал это бедствие однажды, пострададут от него снова: депрессия имеет обыкновение возвращаться. Но большинство жертв переживают и эти рецидивы, часто справляясь с ними даже лучше, чем в первый раз, потому что в ходе прошедшего опыта психологически подготовились к общению с чудовищем. Очень важно, чтобы людей, страдающих от этого злостного недуга (возможно, впервые), уведомили — или даже, скорее, убедили, — что бо-

лезнь со временем пройдет и они выкарабкаются. Неблагодарная это работа: когда кричишь «Выше голову!» тонущему человеку, находясь в безопасности на другом берегу, это равносильно оскорблению, но снова и снова мы видим, что, если продолжать упорно подбадривать несчастного, самоотверженно и с чувством оказывая ему поддержку, его почти всегда удастся спасти. Большинство людей, попавших во власть самой ужасной депрессии, по той или иной причине пребывают в состоянии неоправданной безнадежности, их душа разрывается от преувеличенных мук и от ощущения смертельной угрозы, не имеющей никакого сходства с действительностью. Со стороны друзей, любимых, членов семьи, поклонников может потребоваться почти религиозная преданность, чтобы убедить страдальцев в том, что стоит продолжать жить, хотя это часто противоречит их мысли о собственной никчемности. Благодаря такой преданности удалось предотвратить бесчисленное количество самоубийств.

Один мой близкий друг — знаменитый газетный публицист — в то же самое лето, когда болезнь пришла ко мне, попал в больницу вследствие сильнейшей маниакальной депрессии. К тому моменту как началось мое осеннее падение в пропасть, мой друг уже выздоровел (в основном благодаря литию, но также при помощи последующей психотерапии), и мы почти каждый день созванивались.

Его поддержка была неустанной и бесценной. Именно он продолжал увещевать меня, что самоубийство «неприемлемо» (сам он в прошлом испытывал к нему сильнейшую тягу), и именно его стараниями перспектива больницы перестала казаться мне столь жуткой и пугающей. Я по-прежнему с признательностью вспоминаю о его заботах. Как он позже признался, та помощь, что он мне оказывал, стала для него продолжением собственной терапии; этот случай показал, что болезнь, помимо всего прочего, может породить прочную дружбу.

После того как я, находясь в больнице, начал поправляться, у меня в какой-то момент возник вопрос — впервые он заинтересовал меня всерьез, — почему случилось это бедствие. Литература, написанная о депрессии, огромна, и гипотезы относительного возникновения этиологии этого заболевания плодятся столь же интенсивно, как и гипотезы о причинах вымирания динозавров или о происхождении черных дыр. Само число гипотез свидетельствует о том, что загадка этой болезни чуть ли не неразрешима. Что касается изначального механизма срабатывания, того, что я назвал проявлением кризиса, — удовлетворяет ли меня на самом деле тезис о том, что резкое воздержание от алкоголя стало началом моего падения? А как насчет других вариантов? Например того сурового факта, что примерно тогда же я перешагнул шес-

тидесятилетний рубеж — капитальную веху в человеческой жизни — и это событие сильно взволновало меня? А может быть, смутное неудовлетворение ходом работы — приступы апатии, случавшиеся время от времени на протяжении моей писательской карьеры, вызывая у меня раздражение и досаду, — тоже возникало у меня в тот период чаще обычного, каким-нибудь образом усиливая трудности с алкоголем? Вероятно, эти вопросы неразрешимы.

В любом случае данные моменты интересуют меня в меньшей степени, чем поиски истоков болезни. Каковы те забытые или похороненные в глубине души события, которые дадут нам истинное объяснение эволюции депрессии и ее последующего перерождения в безумие? До того как болезнь случилась со мной и я от нее излечился, я никогда всерьез не думал о своей работе в контексте ее связи с подсознательным — эта область исследования принадлежит литературным детективам. Но, вновь обретя здоровье, я получил возможность размышлять о прошлом с точки зрения моего расстройства и ясно увидел, что депрессия долгими годами маячила на горизонте моей жизни. Постоянной темой моих книг являлось самоубийство: трое из главных героев покончили с собой. Впервые за годы, читая фрагменты из своих романов, в которых мои героини, пошатываясь, сходили в область мрака, я с изумлением об-

наружил, с какой точностью воссоздал контуры депрессии в сознании этих молодых женщин, инстинктивно — при помощи подсознания, уже замутненного душевным расстройством, — описывая нарушение психического равновесия, приведшее их к гибели. Таким образом, депрессия в тот момент, когда она наконец нагрянула ко мне, вовсе не была для меня чужаком или совершенно неожиданным гостем: она десятилетиями стучалась в мою дверь.

Я пришел к выводу, что болезнь уходила корнями в мое детство — я унаследовал ее от отца, который сражался с горгоной на протяжении большей части своей жизни; его душа опускалась во мрак по спирали, и маршрут этот, как я впоследствии увидел, весьма походил на мой собственный; его положили в больницу, когда я был еще мальчиком. В настоящее время генетическая предрасположенность к депрессии не оспаривается никем. Но я убежден, что еще более значимым фактором для меня явилась смерть матери — мне было тогда тринадцать лет; в литературе, посвященной депрессии, постоянно встречается мнение о том, что горе, испытанное в раннем возрасте: смерть или исчезновение родителя, особенно матери, до или во время полового созревания, — является травмой, иной раз могущей привести к практически не поправимому эмоциональному сдвигу. Опасность особенно актуальна, если юноша или

девушка переживает так называемую «незавершенную скорбь» — то есть на самом деле им не удастся достигнуть катарсиса в своей печали, поэтому они сквозь годы тащат на себе невыносимое бремя, частью которого являются, помимо самого заблокированного горя, ярость, чувство вины, и оно может стать в дальнейшем источником стремления к саморазрушению.

Автор новой книги, проливающей свет на многие аспекты самоубийства, «Саморазрушение в Земле обетованной», Говард Кушнер не психиатр, а историк общества. Он убедительно выступает в пользу этой теории «незавершенной скорби» и приводит в пример Авраама Линкольна. То, что Линкольн страдал от свирепых припадков меланхолии, уже стало легендой, в то время как гораздо меньшей известностью пользуется тот факт, что в юности он часто испытывал тягу к самоубийству и не раз был близок к совершению покушения на собственную жизнь. Такое поведение, по-видимому, напрямую связано со смертью матери Линкольна, Нэнси Хэнкс, — это случилось, когда ему было девять лет, — и с горем, не нашедшим выхода, которое обострилось позже, после того как десять лет спустя умерла его сестра. Делая проницательные выводы из хроники мучительной, но успешной борьбы Линкольна с самоубийством, Кушнер не только дает убедительную иллюстрацию теории о том, что ранняя утрата мо-

жет явиться причиной стремления к саморазрушению, но также показывает, как это же самое поведение, при удачном стечении обстоятельств, становится стратегией, при помощи которой человек борется с приступами ярости и чувства вины и одерживает победу над волей к смерти. Подобное примирение может быть сопряжено с поисками бессмертия — в случае Линкольна или художественного писателя, — с попытками победить смерть посредством труда, который по заслугам оценят грядущие поколения.

Так что если эта теория «незавершенной скорби» верна — а я думаю, так оно и есть, — и если правда, что в самых глубинах суицидального поведения лежит подсознательный отклик человека на утрату огромного масштаба и попытки преодолеть ее опустошительные последствия, то обстоятельства, при которых я сам избежал смерти, возможно, являются запоздалой данью уважения моей матери. Ведь я знаю наверняка, что в те последние часы, предшествовавшие моему спасению, когда я слушал фрагмент из «Рапсодии для альты» — который она пела при мне, — я очень много о ней думал.

10

В конце одного из ранних фильмов Ингмара Бергмана, «Сквозь тусклое стекло», у молодой женщины, страдающей от состояния,

похожего на глубокую психотическую депрессию, случается жуткая галлюцинация. Она ожидает появления трансцендентального и спасительного знака Божьего, но вместо этого видит чудовищного паука, который пытается ее изнасиловать. Это миг ужаса и разящей правды. Тем не менее во время просмотра этого эпизода картины Бергмана (который сам переживал тяжелую форму депрессии) возникает чувство, что его высокое мастерство почему-то оказалось неспособным правдиво передать чудовищную фантазмагорию помутненного разума. С древних времен — в мучительном плаче Иова, в хоровых песнях Софокла и Эсхила — летописцы человеческого разума бились над созданием языка, способного адекватно выразить опустошительное действие меланхолии. На протяжении всей истории литературы и искусства тема депрессии проходит нетленной нитью горя: от монолога Гамлета до стихов Эмили Дикинсон и Джерарда Мэнли Хопкинса, от Джона Дона до Готорна, Достоевского и По, Камю, Конрада и Вирджинии Вулф. На многих гравюрах Альбрехта Дюрера изображены душераздирающие муки его собственной меланхолии; безумные вращающиеся звезды Ван Гога — предвестники погружения художника в слабоумие и последующего самоубийства. Тем же страданием часто окрашена музыка Бетховена, Шумана и Малера, оно же пронизывает мрачные кантаты Баха. Однако наиболее точно эту

непостижимую муку передает метафора Данте — всем известные строчки его произведения по-прежнему приковывают воображение содержащимся в них пророчеством неведомого, грядущей мрачной битвы:

Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai nella selve oscura,
Ché la diritta via era smarrita.

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.

Можно не сомневаться в том, что эти слова не раз звучали для выражения разрушительного действия меланхолии, но содержащееся в них злое пророчество часто затмевало собой последние строки самой знаменитой части поэмы, в которых воскресает надежда. Большинство людей, испытавших на себе ужас депрессии, считают его столь огромным и непреодолимым, что он, по их мнению, не поддается выражению — отсюда чувство разочарования и бессилия, обнаруживаемое даже в творчестве самых великих художников, — но поиски точного описания ее сущности в науке и искусстве, несомненно, продолжатся. Иногда для тех, кто познал ее, она является символом всего мирового зла: нашего повседневного раздора и хаоса, нашей нерациональности, войны и преступлений, пыток и насилия, нашего стремления к

смерти и бегства от нее, запечатленном в истории с ее хрупким равновесием. Если бы в нашей жизни были лишь эти явления, нам действительно следовало бы желать себе гибели — и, вероятно, мы бы ее заслуживали; если бы депрессия не имела окончания, самоубийство действительно было бы единственным лекарством. Но правда состоит в том, что депрессия не есть уничтожение души, и это не обман, не беспочвенные попытки подбодрить. Мужчины и женщины, излечившиеся от этой болезни — а их бессчетное множество, — могут засвидетельствовать, что у депрессии есть спасительное достоинство, возможно, единственное: ее можно победить.

Для тех, кто побывал в сумрачном лесу депрессии и познал ее неизъяснимую муку, возвращение из бездны не слишком отличается от трудного восхождения поэта из черных глубин ада на поверхность, говоря его словами, «в ясный свет». Почти все, кто вернул себе здоровье, вновь обрели покой и способность радоваться — быть может, это достаточная компенсация за то отчаяние, которое им пришлось вынести.

E quindi uscimmo a riveder le stelle.

И здесь мы вышли вновь узреть светила.

Содержание

ПЯТЬ РАССКАЗОВ О МОРСКОЙ ПЕХОТЕ

Блэнкеншип. <i>Перевод Т. Китаиной</i>	7
Морской пехотинец Мариотт. <i>Перевод</i> <i>Т. Китаиной</i>	43
Самоубийственная гонка. <i>Перевод</i> <i>Т. Китаиной</i>	112
Дом моего отца. <i>Перевод Т. Китаиной</i>	130
Элобей, Аннобон и Кориско. <i>Перевод</i> <i>Т. Китаиной</i>	220
ЗРИМАЯ ТЬМА. <i>Перевод Е. Мениковой</i>	225